



**СИН
ТАК
СИС**



35

СИНТАКСИС

ПУБЛИЦИСТИКА

КРИТИКА

ПОЛЕМИКА

35

ПАРИЖ
1995

Журнал редактирует:

М. РОЗАНОВА

**The league of Supporters: Е. Афанасьева, Л. Баткин,
Л. Богораз, Т. Венцова, Ю. Вишневская, И. Голомшток,
А. Есенин-Вольпин, Д. Каминская, П. Литвинов,
М. Окутюрье, Т. Толстая, В. Турчин,
А. Френдли, Е. Эткинд**

**Мнения авторов не всегда совпадают
с мнением редакции**

SYNTAXIS 1995

Адрес редакции:

**8, rue Boris Vildé
92260 Fontenay aux Roses
FRANCE**

**Тел.: (1) 46 61 28 38
Факс: (1) 46 61 25 21**

М.Розанова

КАССАНДРА-95

Я всегда любила старые газеты. Именно старые. Потому что если даже сталинская, хрущевская или брежневская пресса и обманывала вас в день выхода, то буквально через несколько лет она превращалась в уникальный источник информации. Выдержанная газета набирает почти коньячную забористость и так же возбуждает...

Летом 1987 года, собирая из старых газетных материалов коллаж, посвященный пятидесятой годовщине 37-го года (см. «Синтаксис»-19), я с тоской обнаружила, что тогда опозорились все. Буквально все. Раздавить гадину в лице очередных врагов народа призывали и Юрий Олеша, и Платонов, и Зощенко, и Паоло Яшвили, и Бабель, и Тынянов, и еще, и еще – и все с гневными статьями, с художественными особенностями... А рядом печатались коллективочки, где среди россыпи имен опять же и Зощенко, и Тынянов, и Паустовский, и Павел Антокольский, и Пастернак...

– Потрясающий материал, хотя и очень уж страшный, сказал нам, перебирая газетные вырезки, соучастник многих наших эмигрантских затей Ефим Григорьевич Эткинд, а через несколько минут, обнаружив чудовищную статью своего старого и старшего друга, добавил: «Только не надо это печатать». Старшего друга – известного литературного критика Федора Левина – я оставила, как оставила имена и Маршака, и Всеволода Иванова... И только одного поэта мы выбросили из этой подборки – Переца Маркиша с его кровавыми стихами. Я пожалела его сына, Симона Марки-

ша, когда-то моего однокурсника, а теперь профессора жевевского университета.

С победой свердловской «демократии» история повторилась: снова цвет российской интеллигенции стал на сторону власти и сначала поддержал гайдаровский грабеж, а потом ельцинский расстрел. Приговаривая при этом: молодец, Боря! жми, Боря! давай-давай, Боря, дави их, тех, которые не с нами!

И никто не подумал о том, что скажут дети и внуки и не будут ли они нас стыдиться?

3 октября 1994 года, в годовщину Черного Октября, мы с Синявским пришли к стадиону на Красной Пресне. Духовой оркестр играл траурные марши, кто-то митинговал, кто-то нес цветы, в стороне горланила Черная Сотня, которая всегда знает – кто виноват. И вдруг на Синявского уставилась тяжелым глазом большая старуха и говорит: не ожидала, говорит, я вас здесь встретить. Я думала, говорит, что интеллигенция совсем уже совесть потеряла! Это был голос народа. А потом мы посетили митинг у Моссовета, где прекрасная девственница Новодворская предлагала всем желающим выпить шампанское за здоровье Бориса Николаевича, Егорушки Гайдара и славных танкистов, которые так хорошо стреляли по Белому дому...

Ю.Вишневская (*встречает*). Позвольте вам возразить, Розанова. Действительно, сходство верноподданнической истерии русской интеллигенции начала 1990-х годов с тем, что мы знаем о поведении людей в 20-е и 30-е, в общем-то поразительное. Но чем больше я думаю об этих параллелях в нашей новейшей истории, тем сильнее мне бросаются в глаза различия между тем поколением и нашим, и эти различия отнюдь не в нашу пользу. Ведь если у отцов и дедов еще были какие-то причины заблуждаться относительно истинной природы новорожденного сталинского режима, то для наших с вами современников подобный приступ коллективного безумия совершенно непростителен.

Во-первых, не было в наши дни такого террора, чтобы «мозг нации» вдруг ни с того ни с сего вдруг окончательно потерял всякий разум. Помните, как описывала свою эпоху Н.Я Мандельштам? «Обезумевшие от страха люди задавали друг другу этот вопрос ("за что его взяли?" – Ю.В.) для

чистого самоутешения: людей берут за что-то, значит меня не возьмут, потому что не за что! Они изощрялись, придумывая причины и оправдания для каждого ареста...» Так вот, те-то обезумели от страха, а эти с чего?

Во-вторых, современников Надежды Яковлевны извиняет хотя бы то обстоятельство, что у них, поколения 20-30-х годов, не было опыта людей 20-30-х годов. А в наши дни заобожали секретаря Свердловского обкома «как родного Сталина», люди, которые всю жизнь только и занимались, что изучением опыта тех поколений и его последствий. Мариэтта Чудакова, например, Кронид Любарский...

И, наконец третье, по-моему, самое существенное. Интеллигенты той эпохи еще могли заблуждаться относительно современной им ленинско-сталинской власти, ибо та была властью первопроходцев, пришедших на эту землю для того, «чтобы осуществить вековую мечту человечества», совершить нечто беспрецедентное в мировой истории.

А с чем обратилась к народу нынешняя российская власть? «Поддержите Ельцина и будете жить как в Америке!» Так вот: можно было сообразить, особенно коли ты интеллигент и в силу этого обязан хоть что-то знать об окружающем тебя мире, что Америка не «вековая мечта», а страна вполне реальная и хорошо изученная. Как можно было не видеть, что делается-то все в России не «как в Америке» (или во Франции, или в Швеции) – а как в Уганде при президенте Иди Амине?

Я нахожу этому только одно объяснение – сатанинское своеволие. Это когда люди видят не то, что есть на самом деле, но то, что они хотят видеть, а истина их вообще не занимает. Своеволие – не свобода, а нечто ей противоположное, ибо дьявол, как известно, «лжец и отец лжи». А Христос пришел и сказал: «познайте истину – и истина сделает вас свободными».

Кстати, обратите внимание, что у этого феномена, – «интеллигенция в свите Президента России», – есть еще одна поразительная особенность. Во всех этих бесчисленных интеллигентских кампаниях в поддержку Ельцина, прямым следствием коих стали государственный переворот и расстрел Белого дома осенью 1993 г., почти совершенно не принимали участие представители точных наук – но исключительно актеры и литераторы. Это особенно заме-

чательно – учитывая ту огромную роль, которую сыграли физики и математики сперва в правозащитном движении 60-80-гг., затем – в эпоху горбачевских преобразований. Скажем, было в 1968 году знаменитое «Письмо 99 математиков» в защиту Алека Есенина-Вольпина, а в поддержку Бориса Ельцина не то что 99-ти, даже 9-ти математиков не собралось. И мне кажется, я знаю, почему: потому что математика – наука не какая-нибудь, а именно точная.

М.Розанова: Хочу слегка возразить Вишневской: страху у интеллигенции сегодня не меньше, чем в 30-е гг. А для страха совершенно неважно – реальная жуть стоит за вашим морозом по коже или воображаемая. Сколько раз все слышали про расстрельные списки в руках красно-коричневых (которые, кстати, никто не видел)! А трогательная идея, что только Борис Николаевич спасет нас от погромов, разве не дорогого стоит? И сюжет этот – страхи и мании – так интересен, что я готова сделать его темой следующего, 36-го «Синтаксиса».

Но все эти рассуждения я начала с пыльной газеты. Так вот: перебирая газетные завалы последних лет, я обнаружила, что если с построением демократии пополам с капитализмом страна в полной запруде, то все-таки умы на Руси не перевелись. Не все обезумели, не все впали в коллективное помешательство. Более того, чем дальше отплываешь от смутных 91-го и 93-го годов, тем яснее проступают тексты аналитиков, чьи глаза не застили родные стадные эмоции, и кто не побоялся иметь о происходящем свое, не в ногу мнение, строить свои прогнозы и чьи прогнозы оправдались. И мы, – журнал «Синтаксис» – решили, что во-первых таким текстам (равно как и другим, из ряда выходящим), нельзя дать затеряться. Поэтому, отвечая своему названию, – связь слов в предложении, – мы, начиная с этого номера, будем регулярно их перепечатывать, работая тем самым стариком Державиным.

А во-вторых, подвиг свободомыслия должен быть вознагражден. И вот в мир столь модных сегодня премий: шведский Нобель, американский Пулитцер, английский Букер, русский богуславский Триумф, одесский Золотой Дюк, мы вносим и свою лепту, учреждая ежегодную премию:



«КАССАНДРА»

**ЗА ТРЕЗВОСТЬ ВЗГЛЯДА,
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ
И ТОЧНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ**

После долгих прений жюри «КАССАНДРЫ», куда были приглашены и Пушкин, и Лермонтов, и маркиз де Кюстин, постановило:

наградить премией «КАССАНДРА» Дмитрия Фурмана (Москва).

Ниже мы приводим отрывки из статей Д. Фурмана, дабы читатель мог убедиться в абсолютном беспристрастии синтаксического жюри.

«Путч 19 августа... и одновременно «героическая защита Белого дома» дали как бы индульгенцию на все. Вновь закрываются газеты (теперь уже – недемократические), смещаются нелояльные местные власти. Россия выступает как «супердержава» Союза, и сразу же после того, как она провозгласила принцип незыблемости границ, заявляет, что у нее есть территориальные претензии ко всем соседям. Одновременно в российском парламенте торжествует новый (и одновременно – очень древний) дух «аплодисментов, переходящих в овацию». Демократы превращаются в «так называемых демократов» именно тогда, когда никто уже не решается их так называть. Победа демократов оборачивается серьезной угрозой для демократии, и уже очень четко вырисовывается перспектива авторитарного популистского режима с вождем, «народным президентом», во главе, базирующимся на преданном ему «демократическом движении», в идеологии и символике которого преобладают ан-

тикоммунизм, русский национализм и националистически окрашенное православие. Большевистски-фашистский дух, изгнанный в дверь, с удивительной легкостью пролез в окно.

Произошло то, что в истории происходило тысячи раз, начиная с эволюции раннего христианства и кончая эволюцией большевизма.

...Демократия – не господство партии «демократов», тем более наших «демократов». Демократия – это борьба партий в рамках закона. Сейчас демократы оказались практически без оппозиции, ибо компартия распалась. Но если демократам оппозиция не нужна, то демократии она нужна как воздух. Поэтому нам нужны не сплочение вокруг Ельцина и не пляски на костях поверженного противника. Нам нужна критика данного варианта демократии, в котором идеи демократии все более подменяются идеей великой России, «ельцинского царства», возникающего на обломках Союза. Нужно сплочение все тех, кого страшит эта перспектива, кому демократия дороже, чем партийные интересы, и тех, чьи интересы, не противореча принципам демократии, противоречат данному, исторически ограниченному ее воплощению. Если этого не произойдет, то сколько бы мы сейчас ни говорили о демократии, мы снова придем к тоталитаризму, который вернется в новом и поэтому неузнанном облике, как неожиданно, совсем не отсюда, откуда можно было предполагать – не от «белых», а от большевиков, – пришло возвращение, причем в многократно усиленной форме, худших черт самодержавия.»

«Независимая газета», 3 сент. 1991 г.

«Многие искренние русские демократы до октября 1917 года и даже позже были глубоко убеждены, что главная опасность для российской демократии исходит от явных и тайных приверженцев монархии, и кончили жизнь от пули чекистов или в эмиграции. В историю как бы вставлен механизм наказания за моральные проступки, и новый авторитаризм – это всегда расплата революции за ее грехи и ослепление.

И для нас грядущий авторитаризм будет наказанием – за то, что у нас борьба за принципы демократии подменилась борьбой против союзного центра и компартии, за то, что

мы были готовы выбрать в депутаты любого проходимца, если только он объявлял себя демократом и антикоммунистом, за то, что мы издевались над человеком, больше, чем кто-либо, сделавшим для русской демократии, – Горбачевым (наслаждаясь собственной псевдомужественностью и зная в глубине души, что это – совершенно безопасно, ибо и человек он не мстительный, и власть от него уходит), за то, что мы воспользовались провалом путча для того, чтобы окончательно развалить Союз, совершенно не думая о последствиях, в том числе и последствиях для только зарождающейся русской демократии, и за многое другое.»

«Независимая газета», 8 окт. 1991 г.

«Дальнейшее уже более или менее ясно – это новая авторитарная система во главе с Ельциным, которого даже нельзя ни в чем обвинять – его несет историческая волна, подхватившая его, пронесшая через демократически-популистскую стадию и сейчас выносящая к роли «великого князя», опирающегося на преданное ему «демократическое движение», в идеологии которого все более доминирует риторический антикоммунизм и русский национализм. Как в 1917 году, так и сейчас, революция «проскакивает» в своем цикле от авторитаризма к новому авторитаризму (или тоталитаризму) стадию демократии, отвергая «нерешительные» фигуры Милюковых, Керенских, Лукьяновых, Горбачевых.

Очень скоро произойдет и то, что произошло после победы большевиков со многими «белыми», понявшими, что воевали они не с тем, что большевики-то и есть «собиратели земли русской».

У меня практически нет сомнений, что в недалеком будущем Союз писателей РСФСР и люди типа Невзорова поймут, что Ельцин и есть новый русский царь, о котором они мечтали, и идеалисты, оставшиеся в демократическом лагере, будут «вышвырнуты» и у себя на кухнях (это еще хорошо, если на кухнях) будут шутить: «За что боролись, на то и напоролись».

«Век XX и мир», № 11, 1991 г.



Владимир Максимов

«ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!...»

Готовлю архив «Континента» для передачи в один из западных университетов. Перебираю письма, полученные мною в течение почти двадцати предыдущих лет. Какие имена, какие люди: Хельмут Коль, Джордж Мини, Артур Кестлер, Александра Толстая, Сол Беллоу, Игнацио Силоне, Менахем Бегин, Чеслав Милош, кардиналы Вышинский, Слипый и Миндсенти, Клод Симон, Владимир Набоков, Эжен Ионеско, Милован Джилас, Карл Карстенс! И, конечно же, свои, более близкие современники: Александр Солженицын, Андрей Сахаров, Иосиф Бродский, Мстислав Ростропович, Елена Боннер, Владимир Буковский, Нам Коржавин, Владимир Войнович, Георгий Владимов, Эдуард Кузнецов, Виктор Некрасов, Александр Галич, Галина Вишневская, Валерий Чалидзе, Андрей Синявский, Мария Розанова, Сергей Довлатов, Эрнст Неизвестный, Андрей Амальрик, Андрей Тарковский, Булат Окуджава и даже Михаил Горбачев! Можно сказать, чуть не вся современная история в персонажах. И все сплошь интеллектуалы, гуманисты, радетели человеческих и гражданских прав, убежденные демократы и принципиальные враги всяческого насилия. Одних уж нет (да будет земля им пухом), другие, видно, не выдержав напряжения борьбы, отошли на обочину истории, третьи продолжают говорить и действовать.

О них-то у меня и пойдет речь.

Даже сегодня, перечитывая письма от них, я не перестаю восхищаться их спокойным достоинством и дальновидной мудростью. Вот, к примеру, из письма Елены Боннер:

«Лично я всегда думала, а сейчас еще больше, что «идеология», если ей жестоко следовать, какой бы ни была, а к добру не приводит.»

Золотые слова! Как говорится, устами бы уважаемой Елены Георгиевны да мед пить!

Но, к сожалению, спустя полтора десятка лет, в дни последних октябрьских событий из тех же медовых уст страна услышала совсем другие речи:

– Пленных не брать, расстреливать на месте.

Это по адресу только что поверженных оппонентов, разумеется, сплошь «фашистов» и «красно-коричневых». Вот уж, воистину, «идеология», даже демократическая, если ей жестоко следовать, какой бы она ни была, а к добру не приводит. Это мог бы подтвердить теперь собственной судьбой и сам родоначальник известного всем постулата: «Если враг не сдается, его уничтожают.»

А вот из эпистолы Александра Солженицына по поводу содержания первых номеров «Континента»:

«Твардовский внутри этих рамок (то есть рамок «Нового мира» – В.М.) создал приятный воздух, атмосферу доброжелательного и вольнолюбивого собеседника! Это – удивительно у них удалось. И Вам в ваших рамках, уже других, хотя тоже иногда поджимающих, – вот к этому надо стремиться: чтобы ласково было на душе от чтения Вашего журнала. Чтобы перевес страниц душевных над желчными был таков, что и через 20 и 40 лет в свободной России его был бы смысл почитать, чтобы не умерли его страницы, как умирают газетные.»

Согласитесь, какая подлинно вселенская тоска по приятному воздуху, атмосфере доброжелательного и вольнолюбивого собеседника, ласковой душе сквозит в этом призыве великого, выражаясь языком незабвенного Евгения Сазонова с 16-й полосы «Литературной газеты», людоведа и душелюба нашего времени!

И призыв этот был услышан самой судьбой. Она явила России спасителя из недавних секретарей обкома, который, идя навстречу пожеланиям живого классика, создалтаки в стране такую атмосферу. Разумеется, не без досадных, но вполне простительных издержек: какие-то две-три сотни трупов (впрочем, кто их считал!), несколько сот забитых, изувеченных и униженных на улицах и в милицей-

ских участках ни в чем не повинных людей, десятков разрушенных зданий и энное количество раздавленных душ. Но чем не пожертвуешь ради великой цели построения зияющих высот счастливого капиталистического будущего! В этом духе вермонтский затворник и отверз свои царственные уста:

– Это необходимый этап в борьбе с коммунизмом.

Не сказал – отлил для вечности. Это не умрет. Только боюсь, что неблагодарные потомки высекут сию непреходящую сентенцию на его могильной плите.

Правда, сама сентенция откровенно пахнет плагиатом из речей всех советских вождей, от Ленина до Андропова включительно. К примеру, из ленинской речи к четвертой годовщине большевистского Октября: «Во что бы то ни стало, как бы тяжелы ни были мучения переходного времени, бедствия, голод, разруха, мы духом не упадем и свое дело доведем до победного конца.»

Не дай Бог!

Но если наши духовные учителя не обременяют себя нынче излишней сентиментальностью, то их верные ученики и вовсе в выражениях не стесняются.

И вот один из них, бывший правозащитник и политзаключенный, Сергей Ковалев, ставший ельцинским сановником, в ответ на жалобы пострадавших в недавних октябрьских событиях теперь неизменно отвечает:

– Я уголовников не защищаю.

Здесь мне невольно вспоминается знаменитое сообщение «Правды» брежневских времен:

«Вчера президент США Дж. Картер принял в Белом доме уголовного преступника В. Буковского...»

Но, увы, у некоторых наших бывших правозащитников память служит только для извлечения из нее материальных или политических дивидендов. Правда, если события будут развиваться в прежнем направлении, то как бы им не пришлось писать тюремные мемуары еще раз. Ведь это всегда только кажется, что колокол звонит по соседу.

Не по нам, не по нам, радуются 42 инженера человеческих душ в «Известиях», а по ненавистному нам соседу! И уже после всего случившегося, после трупов и избиений спешат с упреками к властям, требуя от них еще большей беспощадности. Так и пишут:

«Мы должны на этот раз *жестко* (подчеркнуто мною – В.М.) потребовать от правительства и президента то, что они должны были (вместе с нами) сделать давно, но не сделали.» И далее следует перечисление мер, каковые, на их просвещенный взгляд, могли бы содействовать полной победе демократии в России. Правительству строго предписывается, кого запретить, кого уволить, кого разогнать, что приостановить.

Среди подписавших не только несколько корреспондентов из моего редакционного архива, но и «совесть нации», старейший наш соловчанин Дмитрий Лихачев.

Боже мой, как это все до боли знакомо! Достаточно вспомнить взволнованный холуяж мастеров слова незабвенного 37-го года. Приведу только людоедские причитания далеко не самых худших из них:

Я. Колас: «Они не имеют права жить!»

П. Маркиш: «На бойни гнать бы вас с веревками на шеях...»

А. Толстой: Бдительность, бдительность!»

Н. Тихонов: «Если бы восемь шпионов не были истреблены, сколько жертв вырвали бы они из рядов защитников свободы». Как видите, тоже о свободе пекся!

Но, как известно, «в своем одичании и падении писатели превосходят всех» (Н. Мандельштам). Впрочем, не роняли чести цеха и коллеги Д. Лихачева по Академии наук.

И. Орбели: «Истребление их – наш святой долг».

А. Палладин: «Требуем полного уничтожения всей этой банды».

Е. Тарле: «Шпионаж и диверсии как продолжение политики буржуазного государства».

Н. Вавилов: «Честь и хвала славным работникам НКВД!» (это, надо думать, он своему будущему истязателю – следователю Хвату.)

И какая же расправа без музыкального сопровождения. Тут и Давид Ойстрах, и Эмиль Гилельс, и Яков Флиер. Кто со скрипочкой, кто с виолончелью!

Так что, как видите, дорогие сограждане, господа и товарищи, выбирайте по вкусу, ничто не ново под луной.

Разумеется, те, о ком я говорил выше, принадлежат к поколению, что называется, с молоком матери всосавшему в себя разрушительную отраву черно-белого мира, им (и

мне в том числе) уже не дано изменить в себе эту горькую данность, но посмотрите, с каким воодушевлением, с каким комсомольским задором и подъемом подхватывает «эстафету отцов» молодое поколение строителей светлого рыночного будущего. Эти так, просто, как с цепи сорвались. В предвкушении разбойничьего беспредела. Совсем недавно один из таких – некто Денис Горелов – на страницах газеты «Сегодня» высказался, прямо скажем, без затей: «Буду резать, буду бить». А затем продолжил в лучших революционных традициях:

«К чему нам, пардон, эти формальности буржуазного производства? У нас чрезвычайное положение или просто так, автолюбителей поугагать?.. ЧП чтит дух, а не букву закона... А потому оставим замирительные речи на долю мягкосердного патриарха...»

Господи, было! И это было! Специально для Горелова и его сообразительных единомышленников цитирую присной памяти «Еженедельник ВЧК» первых лет большевистской революции:

«Преступное покушение... побуждает нас отказаться от сентиментальности и твердой рукой провести диктатуру...»

«Товарищи, нас бьют по одной щеке, мы возвращаем сторицей и даем удар по всей физиономии... Мы должны ответить на удар ударом в десять раз сильнее».

«Сотнями мы будем убивать врагов. Пусть будут это тысячи, пусть они захлебнутся в собственной крови».

«Расхлябанности и миндальничанью должен быть немедленно положен конец. У ... змеи должно быть с корнем вырвано жало, а если нужно, и разодрана жирная пасть, вспорота жирная утроба. У саботирующей, лгущей, предательски прикидывающейся сочувствующей внеклассовой интеллигентской спекулянтщины и спекулянтской интеллигенции должна быть сорвана маска. Для нас нет и не может быть старых устоев морали и гуманности, выдуманных... для угнетения и эксплуатации...»

И, наконец, последнее, коронное:

«Не ищите на следствии материала и доказательств того, что обвиняемый действовал *делом* или *словом* против советской власти. Первый вопрос, который вы должны ему предложить – к какому классу он принадлежит, какого он

происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы должны определить судьбу обвиняемого».

Мало? Могу еще, но думаю, что этого вполне достаточно.

Как они были уверены в себе и в своем будущем, эти рыцари с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками, когда за спиной у них стояли родные Цека и Чека, а за дверью – услужливая охрана и опытные надзиратели.

... Нелегко расставаться с друзьями, тем более с друзьями молодости. Слишком многое нас с ними связывает. Слишком многое мы вкладываем в каждого из них. Поэтому, расставаясь с ними, мы как бы освобождаемся от того спасительного груза, что еще привязывает нас к земле. С каждым новым расставанием остро ощущаешь в себе все большее опустошение.

Песня «Возьмемся за руки, друзья...» рождалась буквально на моих глазах, это может засвидетельствовать сам автор. Со временем она превратилась в своеобразный гимн определенного круга людей, с которыми я был много лет тесно и воодушевляюще связан. Долгое время мне казалось, что через нее, эту песню, я приобщаюсь к некоему нерасторжимому единству перед лицом тоталитарного монстра: наше дело правое, мы победим!

Но гром танковых пушек у Белого дома в начале октября этого года развеял мои иллюзии в прах.

Теперь эта мелодия объединяет триумфаторов. И каким зловещим смыслом наполняются теперь ее потрясавшие меня когда-то слова:

Поднявший меч на наш союз
Достоин будет худшей кары,
И я за жизнь его тогда
Не дам и самой ломаной гитары...

Сегодня я слышу в них – в этих словах – недвусмысленное предупреждение марширующих победителей: становись в строй или уйди с дороги.

Что ж, попробуйте, может, получится. Только запомните: погибнуть готов, капитулировать – никогда. Этого вам не дожидаться...

«Новое Русское Слово», декабрь 1993 г.

Владимир Емельянович Максимов умер в Париже 26 марта 1995 г.

Виталий ТРЕТЬЯКОВ

БОЙНЯ НОМЕР ДВА: МЕТАМОРФОЗЫ И КОНСТАНТЫ

(Тезисы по чеченскому вопросу)

С собственно чеченским вопросом все ясно. Кажется, нужно либо быть полным идиотом, либо работать в Кремле, чтобы обманывать себя и других относительно того, что происходит. Но чеченская война позволяет по-новому взглянуть на ряд классических проблем современной российской политики и политиков.

ВОПРОСЫ

Наша власть очень любит ставить общество перед суровым выбором. Например, таким: режим Грозного ужасен; Чечня стремится уйти из России; выжидание и политические методы решения проблемы ни к чему не привели и т. д. Что же теперь делать, если не то, что вынуждено делать государство?

На этот ханжески сформулированный вопрос нужно прежде всего ответить рядом вопросов честных – без надежды, конечно, получить не только честные, но хотя бы какие-то ответы.

Кто осенью 1991-го помог генералу Дудаеву оказаться в Чечне? Кто оставил на территории республики, где уже властвовал генерал, оружие и боеприпасы? Кто принимал решения о тех или иных вариантах решения чеченской проблемы? Кто в Москве использовал территорию Чечни как зону свободной торговли? Кто и почему принял решение, что кризис назрел осенью 1994-го? И т. д.

О КРИМИНАЛЬНОСТИ ЧЕЧНИ

Когда власть меняет мотивировку своих действий, невольно возникает сомнение в истинности самих мотивов. Как мы помним, сначала военная акция по ликвидации режима Дудаева обосновывалась тем, что этот режим нарушает права и свободы человека, разоряет республику, развязал гражданскую войну в ней. Но дней десять назад появился более сильный (по мнению власти) аргумент: режим коррумпирован, криминален по сути – вся Чечня превратилась в криминальную зону. Вопрос: если так, что где люди, работающие с этой зоной из Москвы? Кто-нибудь арестован? Неужели так и не обнаружен хотя бы один носитель «чеченского следа» в чиновничьей Москве, коррумпированность которой стала притчей во языцех? А ведь даже одна фамилия так украсила бы тезис о криминальности Чечни.

КЛЕВЕТНИКАМ ЕЛЬЦИНА

В последние дни почти не осталось людей с более или менее известными фамилиями, которые не бросили бы камень в президента России. И в том он виноват, и в этом.

Побойтесь Бога, господа, да не вы ли поддерживали сами и уговаривали других поддерживать президента на референдуме прошлого года; в связи с указом № 1400; в бойне номер один 4 октября; на референдуме 12 декабря? Не вы ли радовались принятию нынешней Конституции, которая позволяет президенту делать все, что угодно? Не вы ли потирали руки от удовольствия, когда в ваших интересах он обходил и эту Конституцию? Не вы ли кричали: как хорошо, что Дума, в которой сидит Жириновский, не имеет власти!

ПРЕЗИДЕНТА НЕ ИНФОРМИРУЮТ

Не надо заблуждаться (и заблуждать других) – президент знает достаточно, чтобы принимать именно те решения, которые он принимает. Не надо сокрушаться, что он изменился в худшую сторону – в 60 лет не меняются ни к лучшему, ни к худшему. С декабря 1992 года он проводит одну и ту же политику, которая вообще-то проводилась им

с весны 1991 года – с начала новоогаревского процесса. Суть этой политики – моя власть превыше всего.

ЛОВУШКА ДЛЯ ИНТЕЛЛИГЕНТОВ

Начался исход из Кремля. Когда запахло – нет, не кровью, кровь уже лилась, а они все не уходили – когда запахло ответственностью за кровь.

Люди, которые ранее демонстрировали свою влиятельность, свое соучастие в делании политики президента, теперь, подобно профессиональным нищим, тычут в глаза прохожим свои накладные язвы и гнойники: нас не слушали, мы решений не принимали, наши справки до президента не доходили, на Президентский совет нас не допускали, и живем-то мы в труппах. Будто статус члена Президентского совета настолько уж нематериален, что не открывает двери университетов, престижных клубов, телестудий.

Понятно, теперь стало страшно. Чувство, свойственное любому нормальному человеку. Но хоть признайтесь, что:

1) кровь 1994-го – неизбежное продолжение крови 1993-го;

2) та кровь была вами поддержана, ибо открывала вам путь к власти, из которой вы сейчас стремитесь смыться;

3) вами обоснована необходимость авторитарного режима и ваша пропаганда навязала стране авторитарную конституцию, которая позволяет сегодня не слушать ваших протестов и экспертиз.

А насчет того, что Президентский совет не собирают (к вопросу о то ли неинформированности, то ли невменяемости президента) – неправда. Хитрый президент повязал куда более «широкий круг» интеллигентов, чем какие-то там двадцать членов ПС. Накануне Чечни – уже зная, что НАКАНУНЕ – он собрал у себя всех подписантов письма в «Известиях», числом до сотни. Все они фактически благословили душу президента на Чечню. Так не кричите громче других об ужасах кровопролития, вами подготовленного.

ФАРИСЕИ

Заблуждаться может каждый. Признаться в ошибке никогда не поздно (ответственность только разная). Но постыдно извлекать пользу из раскаяния.

Одни сейчас делают карьеру на уходе от президента.

Другие (из тех, кого он сам вышиб раньше) – реанимируют свой образ вождей демократии. Они – оправдавшие расстрел октября 1993 года, вновь во главе «демократической толпы», вновь в ее лидерах.

Предельно мужественно ведет себя Сергей Ковалев. Но разве не он, которого уже сравнивают с Сахаровым, оправдывал акцию 4 октября 1993 года? И разве оправдывал бы ее академик (не путать с женой, выступавшей как бы от его имени)?

Либо у русской демократии будут другие лидеры, либо она вновь посадит в Кремль тех, кто реагирует на кровь избирательно, в зависимости от собственного политического расчета.

УЙДИТЕ, ПОКА НЕ ПОЗДНО

Все члены правительства должны понимать, что решения этого правительства по Чечне – их решения. Не уходя в отставку добровольно, они добровольно подписываются под своей будущей политической и человеческой судьбой.

РОССИЯ И РЕЖИМ

Мне 42 года, я никогда не был диссидентом, я верил в социализм, я поверил в демократию и в некоторых демократов.

В годы брежневского застоя, будучи несвободным, как выяснилось позднее, я и представить себе не мог, что советское правительство даст команду сбрасывать бомбы на советские города. И оно не давало. Мы были действительно мирными людьми.

Вот почему нынешний режим не снесен до сих пор народом, мирным народом – дважды кровавый режим...

(«Независимая газета», 27.12.94)



Сергей Максудов

С КЕМ ВЫ, МАСТЕРА КУЛЬТУРЫ?

Ответ звучит решительно и нетрадиционно: «Со свободолюбивым чеченским народом!» Да, как это ни удивительно, вновь после долгого перерыва московская интеллигенция, распри позабыв, воссоединилась в едином протесте против вступления российских войск в Чечню. Даже Мариэтта Омаровна Чудакова, неоднократно в компании единомышленников объяснявшая Борису Николаевичу на его даче и в Кремле, как ему следует решать важные проблемы страны, даже эта энергичная женщина, столь убедительно призывавшая всех сплотиться вокруг демократической президентской власти, в один прекрасный день (21 декабря 1994 г.) оказалась в рядах оппозиции, выступив с протестом на страницах «Литературной газеты». Правда, этому решительному шагу предшествовало, по словам Чудаковой, тайное послание, «переданное на имя президента днем 15 декабря», которому президент, увы, не внял, а ведь так в былые времена внимательно слушал члена своего Президентского совета. Мариэтте Омаровне не позавидуешь: президент на месте, демократия тоже на месте (иначе, по ее словам, нельзя было бы ни статей с протестами писать, ни на демонстрации выходить), и на недавних призывах объединиться вокруг властей чернила еще не просохли, – и вдруг оказаться вместе с презренными коммунистами, профессиональными раскольниками и критиканами, оставив Бориса Николаевича в компании Жириновского, Невзорова и Баркашова. Правда, с чисто женской непоследовательностью, переходя на сторону оппозиции, Чудакова корит

своих новых союзников, почему они сделали аналогичный шаг не в ногу с ней, а несколько раньше. Вот, мол, если бы все не бросились в свое время дружно критиковать молодую демократическую власть, а вместе с Мариэттой Омаровной поддерживали ее криками «Верую! Верю!», хвалили ее почаще (ну, хотя бы за наличие пива в буфете, как о. Александр Борисов), глядишь, и народ бы тоже поверил, и власть, может быть, была бы лучше.

Проблема пива особенно обижает Мариэтту Омаровну: «Ведь речь идет о качестве жизни. Сюда не одни высокие материи относятся. Пиво есть? Сколько лет звучал безответно этот вопрос уж по меньшей мере половины взрослого мужского населения страны.» Справедливо замечено, что речь идет о качестве жизни, а оно упало, и очень сильно, у большей части населения, за исключением лишь небольшой группы бизнесменов, чиновников и интеллигентов, тем или иным способом запасшихся валютой. Качество жизни падает вслед за стремительным падением производства, в частности, сельскохозяйственного, сопоставимого с периодами самых больших в истории страны катастроф: гражданской войной, коллективизацией, Второй мировой войной.

Интегральной характеристикой падения уровня жизни служит снижение продолжительности жизни граждан России примерно на 5 лет, что означает преждевременную смерть почти миллиона человек в год. Примерно каждый пятый в стране умирает сегодня прежде своего часа, хотя мог бы еще жить, должен был жить, если бы не политические и экономические преобразования (развал СССР и реформы экономики). В год-полтора мы теряем убитыми и преждевременно умершими столько людей, сколько проживает в Чечне. Цена, которую платит Россия (а в границах бывшего СССР потери населения более чем удваиваются) молоху построения капитализма и авторитаризма сопоставима с человеческими жертвами эпохи индустриализации и коллективизации, уносившими примерно по миллиону человек в год. (Несомненно, есть различия в характере смертности: с одной стороны – пули чекистов, с другой – пули бандитов, с одной – ухудшение питания вплоть до массового голода, с другой – ухудшение медицинского обслуживания и некоторое ухудшение питания). Следует за-

метить, что эти огромные потери остаются пока вне сознания российской интеллигенции, она не чувствует за них моральной ответственности, хотя именно ее усилиями был включен механизм перемен, приведших к трагическому результату. Всем, кто поддерживал и поддерживает экономическую политику правительства, в результате которой растет смертность населения, следует ответить, как далеко они готовы зайти? Какая доля преждевременных смертей кажется им допустимой: 30%, 40%, 50%, и в течение какого времени это будет продолжаться – 5, 10, 15 лет?

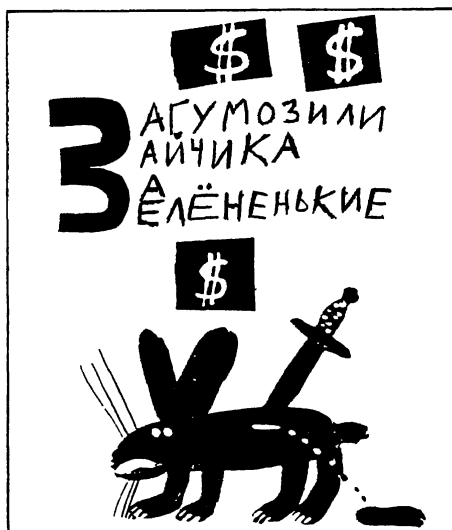
А что касается пива, то его производство, несомненно, сократилось, также как и производство зерна, масла, мяса, сахара и других продуктов, и наличие пива в буфете иркутского аэропорта, обнаруженное отцом Александром, свидетельствует не столько о росте качества жизни, сколько о том, что массовому потребителю этого напитка он становится все более не по карману.

Сегодня оппозиция демократов, еще недавно поддерживавших политику Ельцина, связана в первую очередь с нежеланием проливать кровь чеченцев и русских. Чудакова объясняет в письме президенту: «Да, Россия хочет порядка. Но она не хочет воевать, вы это знаете лучше всех. Вы три года старались, чтобы этого не было. Трупный запах перешибет все, он все сведет на нет.» С последним утверждением трудно не согласиться, трупы пахнут неприятно. И поэтому протестовала Москва в свое время против выстрелов в Вильнюсе, против саперных лопаток в Тбилиси, против танков в Баку. Казалось, с тех далеких перестроечных времен люди пригнулись, но нет, залпы в Чечне возмущают Явлинского и Гайдара, Чудакову и Баткина. Гибель тысяч, а то и десятков тысяч людей, в том числе сотен русских солдат, представляется сегодня интеллигенции недопустимой. И этот широкий фронт протеста, это неожиданное единство демократических рядов вселяет надежду. Целостность территории России, принципы конституции, нелегитимность дудаевского правления – все это важно не только правительственным чиновникам, но и большинству москвичей, однако плата за восстановление порядка в границах государства представляется им непомерно высокой. Протестанты считают, что важны не категорическое исполнение буквы закона и разоружение бандформирований, а переого-

воры с противником и достижение компромисса. Совершенно очевидно, что дело тут не в особой любви к чеченцам, а, значит, если, не дай Бог, в недалеком будущем жители Татарии, Карелии, Иркутска или Дальнего Востока решат, что не хотят быть «колесиками и винтиками», составными частями единой и неделимой, и если за этим решением будут стоять достаточно внушительные народные силы, московская интеллигенция выступит против силового решения проблемы? Хочется верить, что да. Необходимо понять, что страна – это территория совместного проживания людей, в некотором роде их коллективная собственность. И люди имеют право распоряжаться этой собственностью по своему усмотрению, устраиваться жить лучше и удобнее. Вместе или отдельно – это не так уж в конце концов существенно, лишь бы жилось хорошо. Захотят – объединятся и вернуться к прежним границам СССР, захотят – разделятся еще на 50 государств. Государство – не абстрактная мистическая категория с собственными интересами, оно аппарат организации удобной жизни человека, существует для человека и должно помогать жить человеку, а не убивать его.

Протестуя против кровопролития в Чечне, нельзя не вернуться к предшествующим событиям, позволившим президенту и его окружению бесконтрольно решать вопросы жизни и смерти десятков тысяч граждан страны. Нельзя не вспомнить о столкновении исполнительной и законодательной власти в октябре 1993 года. В этой минигражданской войне президент отстоял свой вариант конституции с безграничными возможностями исполнительной власти. Эту победу многие, осуждающие сегодня ввод танков в Чечню, встретили аплодисментами. Более того, на следующий день после расстрела парламента группа интеллигентов публично обратилась к президенту с советом: действовать еще более решительно. Очевидно, что 150 убитых и многие сотни раненых казались им не слишком большой платой за победу над политическими противниками. Сегодня следует ответить на вопрос, какое количество трупов москвичей заставило бы сторонников президента отказаться от услуг армии и КГБ, попытаться найти компромисс с оппонентами? Дело не в том, насколько ненавистны демократам их противники: фашисты, коммунисты, воры почи-

ще государственных чиновников и так далее, не в тех пло- хих словах, которые стороны сказали и могут сказать друг о друге. Вопрос в том, сколько людей можно убить, прежде чем сесть с этими или другими отвратительными злодеями за стол переговоров? Тысячу? Сто тысяч? Миллион? Мож- но предвидеть гневное возмущение литераторов: мы же никого не убивали?! Но люди были убиты, а вы не осудили убийц. Теперь, познакомившись с результатами победы Ельцина над парламентом, следует вернуться к событиям в октябре и ответить себе, следовало ли так радоваться рас- стрелу Белого дома, нужно ли было проливать кровь ради досрочных выборов и конституции, дающей президенту право по своему усмотрению распоряжаться судьбой стра- ны? Не лучше ли было сохранять равновесие законодатель- ной, судебной и исполнительной власти, приводившее к взаимной критике принимаемых решений и увеличивавшей ответственность руководителей за их действия? События в Чечне показывают, что «непредсказуемый» вождь с неогра- ниченной властью во главе страны – это катастрофа. Не- обходимо срочно сформировать действенную систему кон- троля за исполнительной властью, за соблюдением законов всеми руководителями, так же как необходимо осознать экономические и демографические последствия происходя- щих перемен. Нельзя бесконечно идти вперед с закрытыми глазами.



НЕСБЫВШИЕСЯ НАДЕЖДЫ, УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ

Когда мне предложили рассказать о роли интеллигенции в перестройке, я, естественно, начал обдумывать последние десять лет и вдруг обнаружил, что это были, в сущности, самые горькие годы моей жизни. Ибо ничего не бывает горше несбывшихся надежд, а также утраченных иллюзий.

Раньше, до перестройки, я жил прекрасно. Советский режим казался незыблемым. С ним можно было вступить в конфликт и попасть в тюрьму, как было со мной, например. Ему можно было показывать кукиш в кармане, как поступали многие интеллигенты. К нему можно было приспособиться, наконец, и даже полюбить. Чисто отвлеченно я понимал, что он когда-нибудь рухнет – ну, лет через сто, через двести, – но не думал, что до этого доживу. Надежды не было и быть не могло. Зато была – стабильность.

И вдруг – перестройка! Ее начало было так поразительно, что в это невозможно было поверить. И когда к нам в Париж стали приходиться первые перестроечные номера «Московских новостей», в эмигрантских газетах писали, что это какие-то фальшивые выпуски специально для границы, чтобы запудрить иностранцам мозги и обвести Запад вокруг пальца. А советские друзья рассказывали, что в день выхода «Московских новостей» они идут к газетному киоску чуть ли не с шести утра, чтобы купить газету, пока ее не расхватали...

И каждый день приносил интеллигенции новый кусочек

свободы – в виде сначала вольнолюбивых статей, потом запрещенных когда-то книг, вернувшегося из ссылки Сахарова, освобождения политзаключенных.

Горбачев засыпал интеллигенцию подарками, и на первых порах она платила ему признанием. Даже появилась острота, что Горбачев просто-напросто начитался самиздата и осуществляет то, о чем мечтали советские диссиденты, став тем самым первым диссидентом в своем Политбюро. Он же – первый большевистский реформатор и разрушитель системы.

Я не буду здесь говорить о заслугах Горбачева перед человечеством, – их все знают, памятник он себе уже заработал – хоть золотой, хоть серебряный, и овалом, которой его встречают в Генуе, говорит о том же. Я не хочу сейчас думать о его ошибках: они естественны хотя бы потому, что он пошел первым по этому пути. Меня волнует другое: почему после августовского путча и перехода власти в руки Ельцина интеллигенция бросила Горбачева и отдала свои сердца новому вождю? Что это – свойственная людям неблагодарность? Очарование власти? Массовый гипноз?

Вспомним 91-й год. Август. Ельцин, Руцкой и Хасулатов на демократических танках перед Белым домом. Общее ликование. На какой-то миг показалось, что в России победила демократия и советское рабство осталось позади. Но вскоре кое у кого возникли сомнения. Уже 3 сентября 1991 года в «Независимой газете» появилась статья Дмитрия Фурмана о том, что великая августовская революция может стать не началом демократии, а ее концом.

15 ноября 91-го года в редакционной статье журнала «Синтаксис» говорилось: «Итак, три дня переворота, три дня эйфории, а затем начались сомнения: а демократы ли победители?»

И насколько свердловская мафия прогрессивнее днепропетровской? И можно ли грабить награбленное? И не входят ли эти вопросы к самой природе советского государства, способного, даже разрушаясь, еще множество раз воспроизводить себя?»

Но интеллигенция ликовала. Отдельные предостережения скептиков тонули в восторженных возгласах: ведь впервые за много лет интеллигенция ощутила власть своею. Отношения интеллигенции и власти складывались почти

по формуле Маяковского: «Моя милиция меня бережет»: моя власть, наша власть, наше с Ельциным единство.

И когда наступило первое серьезное испытание на душевную ясность и самостоятельность мышления – а именно: когда произошла гайдаровская реформа, которая положила начало резкому социальному расслоению в стране и привела к тому, что сегодня более 30% населения оказалось за гранью нищеты, интеллигенция закрыла на это глаза. Мне это напомнило начало 30-х годов, когда интеллигенция закрыла глаза на страшный голод и бедствия деревни и промолчала.

Тогда она тоже считала власть своею, приблизилась к коридорам власти, и даже сам товарищ Сталин ездил пить чай к великому писателю Максиму Горькому.

Летом 92-го года мы попали в гайдаровскую Москву и ужаснулись: появилось чувство, что мы вернулись в нашу военную юность с ее нищетой, грязью, несчастными старухами, которые рылись по помойкам или несли на рынок свой последний скарб – старые калоши, металлическую дрянь, гвоздики, шурупчики, цветы в вазонах, подушки. Мы пытались объяснить с русской интеллигенцией. Мы пытались понять ее равнодушие к народной беде.

– Ну, я не экономист, – возразила нам член президентского совета Мариэтта Чудакова.

– Первоначальное накопление. Во всем мире так было, – сказал один академик, бывший ректор одного института, а сейчас российский посол в одной из западных стран.

– Подумаешь, у вас во Франции тоже нищих навалом, – ответил мне член президентского совета, известный знаток Достоевского Юрий Карякин.

– Пусть вертятся, пусть ищут, пусть продают бутылки или сдают квартиры, – безоблачно улыбался депутат Верховного Совета, тогда еще не расстрелянного, легендарный диссидентский адвокат Борис Золотухин.

Поговорить не удавалось. Довод, что исторический путь из феодализма в капитализм это не то же самое, что от социализма в беспредел – не работал. Мы чувствовали себя просто старыми дураками. И мне стало как-то неуютно с моей родной интеллигенцией. Мы вдруг перестали понимать друг друга.

Но последней каплей в наших взаимных неудовольстви-

ях послужил Белый дом. Расстрел Белого дома в Москве в октябре 93-го года. Большая часть интеллигенции и притом прекраснейшая ее часть – решительно поддержала расстрел.

Для меня это стало горячей точкой многих споров и расхождений, в том числе с некоторыми любимыми друзьями. Одним из доводов наших оппонентов являлось то обстоятельство, что у демократической России, якобы, не было и нет выбора, нет никакой альтернативы Ельцину, что Ельцин – это единственное олицетворение демократии в России. И если бы Ельцин не расстрелял Белый дом, к власти пришли бы коммунисты и фашисты. Или тогда бы в России началась гражданская война. То есть из двух зол предлагают выбрать меньшее.

Меня эта логика категорически не устраивает. Когда выбирают только из двух зол, то добро вообще – заведомо, изначально – исключают из предмета выбора. Тогда человеческая мысль и свобода исчезают.

И еще я заметил одну особенность в этих спорах. Интеллигентные сторонники Ельцина не желали выслушивать никаких доводов и никаких сомнений в ельцинской демократии. Это мне напомнило один эпизод сталинских еще времен. Когда я впервые узнал, что в России в борьбе с «врагами народа» применялись и применяются пытки, то рассказал об этом своему товарищу-студенту. Он воскликнул: «Замолчи! Я не хочу об этом знать! Если я буду знать, что у нас применяются пытки, я потеряю веру. А без веры я не могу жить».

Я всегда знал, что советская цивилизация во многом держалась и держится на вере. На вере в неистребимую правоту, в непогрешимость и великую целесообразность государственной власти, каковая бы она ни была.

Но сегодня? Когда, кажется, многие идола коммунизма разбиты. Опять взять в поводыри слепую веру вместо размышления? Опять пойти в службу режима? Чтобы выгодно его оттенять?

Невольно приходит на ум аналогия.

На дворе 1936 год. Уже во всю идут аресты. Уже можно заняться, казалось бы, основной работой интеллигенции – размышлением и анализом. Но нет – восторг застит глаза,

и вот как изображает встречу со Сталиным известный русский писатель Корней Чуковский в своем дневнике:

«Вчера на съезде сидел в 6-м или 7-м ряду. Оглянулся: Борис Пастернак. Я пошел к нему, взял его в передние ряды... Вдруг появляются Каганович, Ворошилов, Андреев, Жданов и Сталин. Что сделалось с залом! А Сталин стоял, немного утомленный, задумчивый и величавый. Чувствовалась огромная привычка к власти, сила и в то же время что-то женственное, мягкое. Я оглянулся: у всех были влюбленные, нежные, одухотворенные и смеющиеся лица. Видеть его – просто видеть – для всех нас было счастьем... Каждый его жест воспринимали с благоговением. Никогда я даже не считал себя способным на такие чувства.

Пастернак шептал мне все время о нем восторженные слова... Домой мы шли вместе с Пастернаком и оба упивались нашей радостью...»

Какие странные для интеллигента слова и чувства: упиваться радостью от лицезрения власти. Впрочем, нам недавно рассказывали, как один утонченный интеллигент нашего поколения (ученый мальчик, иностранные языки с детства, с Гете, Рильке, Пастернаком, Цветаевой... на дружеской ноге) с восторгом рассказывал, что сам Борис Николаевич на встрече с интеллигенцией с ним чокнулся, а ведь он не со всеми чокался, поспешил обратить внимание на свою исключительность рассказчик, между прочим бывший диссидент и лагерник.

Сегодня интеллигенция начинает понемногу прозревать: если расстрел Белого дома прошел сравнительно гладко, то в войне с Чечней Ельцин, слава Богу, поддержки не получил. Заметно расширяется интеллигентская оппозиция Ельцину. Я рад, что Сергей Ковалев вернулся в диссидентство и надеюсь, что в этой роли он чувствует себя уютнее, чем в ельцинской службе. Не было бы счастья, да несчастье помогло. А то бы сидел наш Сергей Адамович у господина Любоеда советником по правам человека. Однако интеллигенция все еще не догадывается, что война в Чечне – это прямое продолжение расстрела Белого дома. И боюсь, что пока мое любимое сословие не поймет свою вину, добра не будет.



ПОКА «ТИТАНИК» ПЛЫВЕТ...

1. За что демшиза не любит Говорухина?

Сильно идеологизированная демшиза Станислава Говорухина сильно не любит. И то подумать – с чего ей вдруг любить Говорухина? Рисунок поведения, положенный честному творческому интеллигенту, он все время нарушает. Основные сценические площадки по назначению не использует: на Васильевском спуске не поет – не пляшет, в Бетховенском зале на цырлах не ходит. Иногда он романтично-наивен («Россия, которую мы потеряли»). Иногда – прямолинейно простодушен («Так жить нельзя», «Солженицын»). Однако и его наивность, и его простодушие все равно симпатичнее (и, разумеется, благороднее) распространенного: *Ничего страшного, всегда воровали. Эпоха первоначального накопления. А вот правнуки тех, кто сейчас бандитствует, станут, бог даст, приличными людьми.*

Меня правнуки особенно занимают. Что мне до правнуков, когда я живу здесь и сейчас? Или – пусть так, но тогда к правнукам и надо относиться как к приличным людям. А к нынешним – уж извините... Вот это самое умонастроение и передал Говорухин в своей книге «Великая криминальная революция»: с фактами, с конкретными действующими лицами, с цифрами. И, разумеется, с публицистикой: «А

Станислав Говорухин. Великая криминальная революция. М., Андреевский флаг, 1993.

пока наши прогрессисты с торжеством в голосе кричат своим оппонентам: «...Все есть в магазинах. Пока дорого, но есть!». Да, есть. За счет детей, То, что мы сейчас тратим, нам уже не принадлежит... Оставим мы наших детей без леса, без руды, без нефти, без высоких технологий, без науки... да еще будут они работать только на то, чтобы выплатить проценты за кредиты, которые мы брали. Кредиты, ухнувшие в бездонную дыру». Мрачная картина: даже этим самым – приличным – правнукам развернуться негде будет... Говорухин – мизантроп, говорите? А не врубить ли нам по этому случаю диск «Наутилус Помпилиус»?

Матросы продали винт эскимосам

За бочку вина.

И судья со священником спорят всю ночь,

Выясняя, чья это вина.

И судья говорит, что все дело в законе,

А священник – что дело в любви.

Но при свете молний становится ясно:

У каждого руки в крови.

Но никто не хочет и думать о том,

Пока «Титаник» плывет.

Никто не хочет и думать о том,

*Пока, пока «Титаник» плывет...**

Пока «Титаник» плывет, Говорухина пригласили на Пресс-клуб. Чтобы поставить на место, судя по всему. Потому что обычно большая часть его завсегдатаев ведет себя так, будто рассчитывает, что Сам их увидит, услышит и оценит. Или Самому доложат и Сам оценит. И все будет хорошо. Хотя, возможно, я несправедлива: это просто атмосфера – демократически-заполосная, с установкой на «ату его!». (Помню, как впервые шевельнулось в моей душе сочувствие к гэкачепистам – пресс-клубовцы тогда устроили на них образцово-показательный гон. Нашелся один приличный человек – Александр Градский. Он встал и вышел, потому что стыдно...)

Говорухин, однако, не гэкачепист. Говорухин, между прочим, в августе 91-го защищал Белый дом. Но он собрал и свидетельства тех, кто был в Белом доме осенью 93-го: священников, депутатов, служащих. Это, с точки зрения

* Стихи Ильи Кормильцева.

демшизы, непростительно. И демшиза не лжет – она просто обретается на территории, где разница между правдой и ложью несущественна. Демшиза ни горяча, ни холодна – тепла.

А для Говорухина эта разница существенна. И этим он выделяется среди собратьев по цеху – творческой интеллигенции.

Вам не хочется вспоминать о том, что было? Неприятно? Дискомфортно? Да и зачем, в конце концов. Но Говорухин напомним: «... вот этот осуществленный с восточной жестокостью расстрел парламента, расстрел депутатов, которые даже не брали в руки оружие, расстрел женщин и детей на глазах у всего народа, вся эта варварская и даже бессмысленная в военном плане акция на самом деле была далеко не бессмысленна. Она означала полную и безоговорочную победу режима на всех фронтах. Более черного и грязного дела они уже не сотворят... 4 октября – день торжества безнравственности. Расстрел парламента на глазах у всей страны не пройдет бесследно. Разбужены, всплыли на поверхность все темные силы».

Вам не хочется называть вещи своими именами? А Говорухин назовет: «У кого из знакомых вам жуликов «высокого полета» не хранятся деньги в западном банке? Кто не перебросил на запад семью – жену и детей? ... Переберите в уме знакомых вам «демократов», из тех, кто особенно много кричал и бил себя в грудь. Сколько их уже уехало или готовы уехать?»

Я видел секретные карты,

Я знаю, куда мы плывем.

Капитан, я пришел попроситься с тобой,

С тобой и твоим кораблем.

Я спускался в трюм.

Я беседовал там

С господином Начальником Крыс.

Крысы входят на берег в ближайшем порту

В надежде спастись...

«Я не верю в заговор ЦРУ. Хотя все, что произошло, отвечает планам ЦРУ... Я не верю в сговор западных держав. Хотя без участия Запада тут не обошлось. Но это у них в крови, ими движет инстинкт, общность интересов», – пишет Говорухин.

*Я видел акул за кормою,
Акулы глотают слюну.
Капитан! Все акулы в курсе,
Что мы скоро пойдём ко дну...*

Пока «Титаник» плывет... А куда «Титаник» плывет? Так жить нельзя? Или – теперь это не имеет значения? Говорят, Александр Исаевич Солженицын ступил на русскую землю с книжкой «Великая криминальная революция» в руках... Однако Солженицын отозвался об авторе «ВКР» весьма пренебрежительно: «Всякую пустяковину говорят – вот, например, «ваш приятель Говорухин». Говорухин один раз взял у меня телеинтервью. Меня десятки людей интервьюировали – никто не говорит, что они мои приятели». («ЛГ», 13.07.94). Вот так.

Пока «Титаник» плывет. Плывет пока еще, плывет... Плывет же! Чего дергаться-то?!

2. Русский бред

Всякая революция нуждается в идеологическом обеспечении. И Великая Криминальная – тоже. Она и получила его, в первую очередь от творческой интеллигенции. вспомните, как весело пели литераторы на разные голоса: «Ворюги мне милей, чем кровопийцы...» И, при кажущейся безусловности, *слоган* этот загонял нас в очередной исторический и психологический тупик, ставя перед жестким выбором лишь из двух малоприятных вариантов судьбы. Тоталитаризм или дикий рынок. Гарантированная пайка или ломящиеся от (не всем доступных) товаров прилавки. Комиссары в пыльных шлемах и подвалы Лубянки или предприниматели, неизвестно каким способом нажившие капитал... Не хочешь обратно в Совдепию – принимай с распростертыми объятиями ворюг.

И принимали. И принимают. И будут принимать (если еще не всех приняли). Сколько урок, канавших под жертвы коммуны, получили депутатские мандаты, а с ними и неприкосновенность – поди сосчитай! И когда какой-нибудь блатняга с косою челкой (вроде убитого в разборке депутата Скорочкина) объяснял на фоне с телеэкрана, кто и

отчего на него наезжает, творческий интеллигент лишь умильно вздыхал: «Что делать, эпоха первоначального накопления...»

*Впереди встает
холодной стеной
арктический лед.*

*Но никто не хочет и думать о том,
Куда «Титаник» плывет.*

Культивирование презрения к закону – один из ключевых моментов пропагандистской кампании «дикого рынка». Это та вязанка дров, которую творческая интеллигенция подбросила в костер Великой Криминальной Революции. «Закон плох, поэтому все дозволено!» – сказали наверху. «Закон плох, поэтому все дозволено!» – радостно подхватили творческие интеллигенты. «Закон плох, поэтому все дозволено!» – поняли предприниматели и продолжали делать то, что и делали. Так все, не привыкшие и не желающие играть по правилам, слились в экстазе, и получилось то, что получилось.

Симптоматично совпадение имен в списках творческих интеллигентов, поддержавших расстрел Белого дома, и тех, кто выступил в поддержку по-своему замечательного банка «Чара». В обоих этих более чем сомнительных с правовой точки зрения предприятиях они участвовали не абы как, а ввиду близлежащей выгоды – шуба ль с барского плеча, процент ли с валютного вклада. Ну, а о дальних перспективах кто ж думает! У нас не принято. Семена съедим, по урожаю тужить не станем. (Замечу в скобках, что, вернув себе вклады, представительные «чаровцы» из числа деятелей культуры тут же и соскочили, оставив рядовых вкладчиков толкаться без пользы на митингах. Элита!)

До логического предела эти диковинные умонастроения, весь этот русский бред довел журнал «Знамя», назвавший его – то ли по наивности, то ли еще почему – гордым словом «либерализм». Очень странный либерализм получился у «Знамени», с существенным изъятием в виде уважения к праву, к закону. Сергей Чупринин («Знамя», 1993, № 7) весьма бойко объяснил диалектику либерализма: «Свобода – это вседозволенность» и «Готовность чуть что кликнуть городского». Городовой нужен для внутренних

чисток и для того, чтобы «распустить Советы», «употребить власть по отношению к бесчинствующей оппозиции», «вести преобразования силовыми авторитарными методами». Все пункты, за исключением преобразований, городской, как известно, выполнил с легкостью.

Что касается «вседозволенности», то она и предполагалась не для всех. («Разве это нормально, когда представители элиты имеют одинаковые права с опустившимися маргиналами и пьяницами?» – задается вопросом «Московский комсомолец», 30.04.94, и не видит в таком вопросе ничего ненормального!). По-знаменски, «вседозволенность» полагается только «мыслящему предпринимателю» (термин Сергея Чупринина) и подружившемуся с ним творческому интеллигенту (то есть элите).

С. Чупринин на полном серьезе уверяет читателей, что «риторика о необходимости всем миром... покончить с «разграблением» страны, с «криминальным» капиталом и «тиранией лавочников» пугает... едва ли не больше, чем вполне реальное казнокрадство и мздоимство». Прелестны кавычки – дескать, так то оно так, да не совсем так. Или – совсем не так. И более того: «разгул коррупции, других несправедных способов личного обогащения, как показал еще Ф. Ницше, свидетельствуют о том, что в обществе «действительно падают акции войны»...» Про Ницше ничего не скажу – дедушка был неисправимым романтиком! – а как падают акции войны, это мы видали. В Грузии, в Азербайджане, в Таджикистане, в Чечне... Да и в самой Москве 3-4 октября 1993 года.

Не надо цепляться к спекулянтам, теневикам, мздоимцам и т.п. – просит наш либерал. – Это создаст обществу еще больше проблем. И совсем уж демагогически: «развязав массовые репрессии по отношению к жулью, так легко перебросить их на людей, отобранных по другому принципу». Впрочем, всерьез разбирать этот заказной текст не имеет смысла. «Мыслящий предприниматель» Марк Масарский покупает «Знамя» и объясняет (я слышала своими ушами), что хочет таким образом заполнить пустующую идеологическую нишу. Заодно и сам, аккуратно так, встраивается в ряд и оказывается в списке Общественного совета редакции между Маканиным и Окуджавой. *Уплочено!* Творческий интеллигент Сергей Чупринин обслуживает клиен-

та – *уплочено же!* Ну а то, что при этом происходит размывание и так едва-едва видимых контуров закона и растление нации – никого не смущает – *уплочено!*

И никому не достает воображения, чтобы представить себе такую простую штуку: преступление закона всяк может трактовать по-своему. Один – как некий «неправедный способ личного обогащения», второй – как сбыт наркотиков или бракованной партии гонконгских презервативов, третий – как возможность убить первого или второго. И т.д.

*На верхней палубе играет оркестр
и пары танцуют фокстрот.*

*Стюарт разливает огонь по бокалам
и смотрит, как плавится лед.*

*Он смотрит на танцоров, забывших о том,
что каждый из них умрет.*

*Но никто не хочет и думать о том,
пока «Титаник» плывет...*

Ворюги вам милей, чем кровопийцы, а иного не дано? Что ж, чудесно. Только учтите, что ворюге стать кровопийцей проще простого. «Один из питерских авторитетов в доверительном разговоре сказал: «За три последних года не припомню случая, чтобы наемный килер получил заказ на отстрел какого-нибудь коммерсанта или банкира от «блатного». Только от «деловых»! Они готовы убивать друг друга по каждому поводу», – свидетельствует Павел Воцанов («Комсомольская правда». 21.03.95). И творческая интеллигенция, увы, и к этому приложила руку.

Ну, а «Титаник»... Что ж, пока «Титаник» плывет. Великая Криминальная Революция продолжается.



Александр Тарасов

ПРОВОКАЦИЯ

Версия событий 3-4 октября 1993 г. в Москве

Эта работа явилась результатом попытки построения профессионалом-политологом жизнеспособной версии недавних событий, позволяющей разъяснить многочисленные «странности», связанные с событиями 3-4 октября в Москве, «странности», число которых явно превысило все допустимые в таких случаях нормы. Разумеется, предлагаемая ниже версия (если бы я писал статью в специальный журнал, я сказал бы: рабочая гипотеза) не претендует на истину в последней инстанции, но обладает одним большим достоинством: будучи внутренне непротиворечивой, она позволяет предложить для всех «странностей» единое объяснение, в то время как при других версиях приходится предлагать (изобретать) специальное объяснение для каждой из «странностей» отдельно.

Я вовсе не являюсь автором версии о провокации с президентской стороны. Эта точка зрения – более или менее аргументированно – высказывалась многими людьми уже в первые дни после штурма Белого дома (например, Викторией Шохиной: «Я вижу грандиозную политическую провокацию». – «Независимая газета», 9.10.1993). Более того, до второй половины октября я отказывался принять эту версию, полагая, что имело место стихийное развитие событий, вполне естественное при учете того фактора, что политическая арена у нас сегодня – по большей части,

сфера действия посредственных и самовлюбленных дилетантов.

Но накапливающиеся факты и свидетельства – как устные, участников событий, так и печатные – заставили меня изменить точку зрения.

Причины

К концу сентября – началу октября президентская сторона оказалась стороной, более заинтересованной в быстром силовом разрешении конфликта, чем Белый дом. Нанеся своим противникам 21 сентября сильнейший удар, Ельцин в течение последующей недели потерял темп, и события стали спонтанно развиваться в невыгодном для него направлении. То, что депутаты отказались подчиниться «новому матросу Железняку» и покинуть Белый дом, создало постоянный очаг напряженности, а отключение от Белого дома электроэнергии, тепла и воды, обнесение его колючей проволокой и милицейскими заслонами только героизировало сидящих в Белом доме депутатов в народном сознании (а еще вернее – в подсознании). С депутатами однозначно солидаризировался Конституционный суд, а законодательная власть, опираясь на Конституцию, заявила о смещении Ельцина и назначении и.о. президента Руцкого. В стране появились два президента и два комплекта силовых министров. Двоевластие таким образом приняло формы, характерные для гражданской войны.

Блокада Белого дома повлекла за собой появление новых очагов сопротивления – сначала в Москве (Краснопресненский райсовет, Моссовет), а затем и в провинции – облсоветы, краевые и республиканские советы и даже ряд представителей административной власти на местах. Сторонники Белого дома в Москве начали организовываться и переходить к акциям уличного протеста. Столкновения с милицией и ОМОНОм день ото дня обостряли ситуацию – при чрезвычайно вялом отклике «демократической» общественности. Причем для всех было очевидно, что достаточно снять колючую проволоку и блокаду Белого дома – и уличные беспорядки прекратятся: исчезнет породившая их причина.

Медленно, но верно возрастало число противников президента Ельцина: начиная с ФНПР и кончая целым рядом «демократических» партий и организаций, а также представителями деловых кругов. Правозащитные организации, как в России, так и за рубежом выразили недовольство в связи с ограничением гражданских прав в Москве и введением без соблюдения необходимой юридической процедуры на части территории столицы элементов чрезвычайного положения (ограничение свободы перемещения, свободы слова, собраний и т.д.). По мере того как на телеэкранах мира все чаще появлялись кадры с избиваемыми дубинками демонстрантами, а самим журналистам (отечественным и зарубежным) все больше доставалось от омовцев, все откровеннее проступало в средствах массовой информации (и наших, и зарубежных) недовольство действиями исполнительной власти в Москве – сначала ограничениями свободы слова и свободы получения информации журналистами («Хельсинки уотч» выступила, например, с очень резким заявлением), а затем и в целом. 29 сентября после публичного заявления госсекретаря Уоррена Кристофера о том, что американская администрация потребовала от Ельцина обеспечить права человека в Москве, в том числе и тем, кто находится в Белом доме, ситуация в этом плане стала критической. Последовавшее через несколько часов после этого еще более жесткое американское заявление с требованием не допустить применения насилия правительственными войсками ставило Ельцина в трудное положение: без применения силы очистить Белый дом было невозможно, а от применения силы первым его уже предостерегли.

Оставалось одно: заставить Белый дом первым прибегнуть к силе. Но и в Белом доме прекрасно понимали, что этого допустить нельзя, и, несмотря на «психоз осажденной крепости», присущий всем осаждаемым, старались по мере сил избежать стрельбы: изымали и складировали ранее выданное оружие, выдавали его дежурным под расписку и т.д. («Комсомольская правда», 9.10.1993; «Московские новости», 17.10.1993; «Новая ежедневная газета», 20.10.1993; «Рубикон» (СПб.), 1993, № 1). Продемонстрированные после штурма Белого дома кадры вскрытия хранилищ с опечатанным оружием, так и не розданным (вопреки логике)

в ночь с 3 на 4 октября защитникам Белого дома, также подтверждают это. Да и рядовые защитники постоянно ожидали провокаций и боялись их и дружно сходились на том, что браться за оружие не стоит (это засвидетельствовал корреспондент яро ненавидевшей Белый дом газеты «Московский комсомолец», пробравшийся в ряды защитников Белого дома и записавшийся в пресловутый Полк Руцкого – см. «Московский комсомолец», 28.09.1993). Провокации действительно были: неизвестно, кто доставил в Белый дом и распространил там листовки с призывом громить рестораны; неизвестно, как попала внутрь оцепления загадочная машина с громкоговорителем (неизвестно, как и исчезла), из которой призывали взять штурмом штаб ОСВ СНГ и т.д. («Рубикон» (СПб.), 1993, № 1).

Вдобавок ко всему, установление жесткого контроля над радио и TV со стороны исполнительной власти вызвало многочисленные протесты и явное раздражение в обществе. В провинции, где местные власти через местные средства массовой информации (СМИ) быстро и эффективно доводили до населения, что их позиция центральными СМИ искажается в угоду президенту (как это было, например, в Белгороде или в Карелии), резко выросло недоверие к исходящей из центра информации и восприятие центральной mass media как лживой. Захват и закрытие президентом газет, журнала, радио- и телепрограммы, учредителем которых был Верховный Совет, лишь увеличили число недовольных. Отрицательно сказался на репутации Б. Ельцина и откровенный до цинизма подкуп депутатов Верховного Совета – обещания перебежчикам теплых мест в аппарате исполнительной власти с высокой зарплатой и т.п.

Кроме того, отключение телефонной связи в целом ряде зданий силовых министерств (включая Генеральный штаб, Министерство обороны и Главную военную прокуратуру) не только публично унижало работников этих министерств, но и создавало нетерпимую ситуацию, чреватую угрозой обороноспособности страны. Не случайно «Комсомольская правда» сообщение об отключении телефонов в зданиях Минобороны и Генштаба сопроводила саркастическим заголовком: «А если завтра война?»

Жесточайший удар по положению президента нанес «бунт субъектов Федерации». Признание рядом регионов Руцкого законным и.о. президента, Всесибирское совещание, поставившее Б. Ельцину ультиматум с требованием прекратить блокаду Белого дома и начать переговоры с Верховным Советом под угрозой блокады Транссиба, безуспешная попытка Ельцина сместить мятежного новосибирского губернатора В. Муху, дружно поддержанного местными политическими партиями, предприятиями и даже местным УВД, антипрезидентские по сути решения Совещания субъектов Федерации Северо-Западного региона и Совещания субъектов Федерации в зале Конституционного суда 30 сентября показали президенту, что если срочно, до 9 октября (дата созыва Совета Федерации), не подавить силой сопротивление Белого дома, то после 9 октября уже придется подавлять силой сопротивление регионов. А на это и силы может не хватить, да и желающих может не найтись.

Завершающим ударом по президенту явилось решение Русской православной церкви выступить посредником в конфликте и предложить местом переговоров Свято-Данилов монастырь. Это означало, что РПЦ, которую последние годы обхаживали все ветви власти, признает равной стороной на переговорах распущенный и упраздненный президентом Верховный Совет, за которым, говоря словами классика, не стоит ничего, кроме «силы фразы», в то время, как за властью исполнительной – «не прикрытая фразой сила». Особенно неприятным для президентской стороны было, видимо, то, что резко возросшая посредническая активность Алексия II выглядела как ответ на призыв к нему проявить такую активность со стороны деятелей культуры – сторонников Белого дома (текст призыва см. «Правда», 1.10.1993).

Существуют глухие свидетельства относительно того, что Совет Федерации предъявил обеим конфликтующим сторонам ультиматум: если они не достигнут до 3 октября компромисса, то 4 октября Совет Федерации возьмет на себя всю полноту власти в стране (см., например, «Аргументы и факты», 1993, № 44).

Как выражался другой классик, «кризис назрел».

Предвестники

Подготовка исполнительной власти к разрешению конфликта с законодательной с помощью силы началась задолго до опубликования указа № 1400 – первоначально, видимо, в качестве возможного варианта развития событий.

Одним из первых шагов в этом направлении был, видимо, приказ об изъятии табельного оружия у офицеров, а также у курсантов военных училищ и вузов, и отправке его на склады. Это делало армию более контролируемой в случае внутреннего вооруженного конфликта и оставляло оппозицию без вооруженной поддержки симпатизирующих ей офицерских кадров.

Снятие В. Баранникова с должности министра безопасности и переподчинение войск МБР частично МВД, частично Министерству обороны, а частично (спецгруппы «Альфа» и «Вымпел») – ГУО (президентской охране), привело еще летом-осенью ряд аналитиков к мнению, что Ельцин пытается если не поставить МБР под свой тотальный политический и идеологический контроль, то, как минимум, парализовать его и оставить без реальной военной силы на случай обострения борьбы до уровня вооруженного противостояния. Тем более, что основной предлог для снятия Баранникова (недостатки в руководстве погранвойсками) выглядел явно надуманным. Сегодня мы знаем, что Баранников был снят в связи с тем, что пришел к выводу (или дал себя убедить), что политика Ельцина наносит ущерб национальным интересам России – и за спиной Ельцина вступил в тайный союз с Руцким и Хасбулатовым (см., например, «Известия», 3.11.1993). По аналогичным причинам был ранее снят с должности и человек № 2 в МВД – генерал Дунаев.

Демонстративные посещения в последние месяцы Б. Ельциным воинских частей (как раз тех, которые были непосредственно затем задействованы в Москве) навели на мысли о готовящемся государственном перевороте как многих представителей оппозиции, так и независимых на-

блюдателей. Показательно, что проправительственная пресса их тогда высмеивала: у страха, мол, глаза велики.

Скандально известный «генерал» Дм. Якубовский, тайно ввезенный на президентском самолете и на президентском бронированном лимузине из Канады в Кремль для подготовки компромата на Руцкого и Хасбулатова, признался в сентябре, что еще в июле был разработан план, в соответствии с которым «блок Хасбулатов - Руцкой должен быть устранен с политической арены до ноября» («Известия», 3.11.1993).

За несколько дней до объявления указа № 1400 работникам силовых министерств, а заодно и президентской охране (ГУО РФ) вдруг повысили зарплату – в среднем в 1,8 раза. (Всего за две недели до того силовые министерства (по инициативе Министерства обороны, в котором офицеры кое-где месяцами не получали денег, а в августе денежное довольствие в большинстве частей было выплачено лишь на 40%) попытались «выбить» из Совмина повышение зарплат. Тогда им показали на дверь.) Умудренные горьким опытом последних лет, силовики заподозрили, что их собираются послать под пули. И, как выяснилось позже, не ошиблись. Все это также свидетельствует о том, что президент вовсе не «спонтанно подписал» 21-го указ № 1400, «оскорбившись хамством Хасбулатова», как предположили некоторые газеты.

Да и сам пресс-секретарь президента В. Костиков несколько опрометчиво признал, что Ельцин давно и сознательно готовил государственный переворот: «Неужели кто-то думает, что документ (указ № 1400) был написан за несколько часов и президент с ходу его подписал?! Это результат длительных проработок, в которых принимала участие большая группа юристов, в том числе из Правового управления при президенте, всего около 40 человек. К 21-му числу работа была завершена, правовые аспекты проработаны, президент посмотрел и одобрил указ» («Общая газета», 1993, № 11/13).

22 сентября, на следующий день после подписания указа, ряд московских клиник получил указание подготовить койки и средства для приема возможных «пострадавших». В тот

же день МВД бросают еще одну (после повышения зарплаты) кость: Совет Министров принимает постановление об усилении патрулирования с привлечением военнослужащих (привлекаются целых 34 тыс. военнослужащих), об увеличении штата МВД на 45 тыс. чел., о возрождении ДНД (чего милиция давно добивалась). Минфину дано указание изыскать средства на содержание новых 45 тыс. милиционеров. С 1994 г. 70 тыс. призывников будут направляться на комплектование внутренних войск. Для патрульно-постовой службы выделяются специальные помещения, будут строиться минигородки милиции. Наконец, создаются оперативные группы по контролю над рынками, толкучками, и вообще «местами торговли товарами народного потребления и сельскохозяйственными продуктами» (это же Клондайк! золотое дно!).

22 сентября Радио «Свобода» сообщило, что Тульская дивизия ВДВ уже несколько дней находится в состоянии повышенной готовности. Не знавшие ничего о грядущем указе № 1400, десантники думали, что их бросят в Абхазию. Дивизии обещали также платить в ближайшее время в долларах («Правда», 22.09.199.). Позже выяснилось, что в состоянии повышенной боевой готовности задолго до событий 3-4 октября и даже до подписания указа № 1400 была и Псковская дивизия ВДВ. А дивизии им. Дзержинского, Таманская и Кантемировская были раньше времени переведены на зимние квартиры, что позволяло привести их в состояние боеготовности за 2 часа («Аргументы и факты», 1993, № 44). Сразу после 29 сентября, как стало позднее известно еженедельнику «Аргументы и факты» из армейских кругов, президентская сторона стала прощупывать части с целью определения наиболее надежных и беспринципных, готовых на все ради чинов и денег. «Их «выщипывали» и продвигали к Москве. Так случилось, скажем, с Тульским учебным полком погранвойск» («Аргументы и факты», 1993, № 44).

В Москву начинают стягиваться ОМОНЫ со всей России (в конце концов в Москве оказался ОМОН из 47 республик, краев и областей; кажется, только Татарстан отказался прислать своих). «Правдист» Г. Овчаренко, «сидевший на криминальной теме», с изумлением обнаружит вскоре в

оцеплении Белого дома знакомых участков, сыщиков из МУРа и даже работников УВИРа («Правда», 2.10.1993).

28 сентября блокированный ОМОНОм Белый дом обносят колючей проволокой, подтягивают несколько БТРов, начинают психологическую войну с помощью агитационного БТРа с радиодинамиками. Это должно спровоцировать – не может не спровоцировать (на этот счет есть специальные разработки психологов) – «зашкаливание» стрессового состояния у осажденных. Спецслужбы хорошо знают тактику доведения осажденных людей до психоза («Московские новости», 17.10.1993). По словам советника Руцкого А. Федорова, Белый дом из табора был таким образом превращен в военный лагерь («Аргументы и факты», 1993, № 41). Одновременно из Белого дома искусно удаляют тех, кто может помешать осуществлению президентской стороной сценария – например, Кургиняна («Аргументы и факты», 1993, № 40), а заодно и иностранных корреспондентов, организовав через западные посольства утечку информации о готовящемся штурме («Комсомольская правда». Спецвыпуск «Все о черном октябре», с. 8).

К 29 сентября численность милиции и внутренних войск, сосредоточенных в районе Белого дома, достигла 2,5 тыс. чел. Кроме того, постоянно на рабочих местах находилось 50% личного состава московской милиции и 85% сотрудников ГАИ («Коммерсант-DAILY», 30.09.1993). К 3 октября в Москве было сосредоточено 6 тыс. одних только омовцев («Московские новости», 17.10.1993). При подавлении гражданских беспорядков, если дело дошло до применения оружия, 6 тыс. омовцев способны противостоять 7 млн. 200 тыс. человек – это все взрослое население Москвы! (См. об этом «Московские новости». 17.10.1993). В Москву были стянуты части ГУО, взявшие под плотную охрану Кремль, и подразделения дивизии им. Дзержинского, включая спецназ и 15 БТРов («Московский комсомолец», 1.10.1993).

Решение о начале операции было, скорее всего, принято в штабе президента 29 сентября – в день предупреждения со стороны У. Кристофера, в день, когда в основном уже стала ясна позиция субъектов Федерации и, вполне возмож-

но, наметилась угроза раскола в вооруженных силах (срыв заседания коллегии Министерства обороны 28 сентября). Тогда же, 29 сентября, «исчез» министр обороны Грачев, и все попытки журналистов найти его оказались безрезультатными. Показательно, что 29 сентября Грачев отозвал свое интервью «Московским новостям», в котором обещал, что армия сохранит нейтралитет в политическом противостоянии. Другим подтверждением того, что решение о применении силы было принято 29 сентября, можно считать пресс-конференцию Сергея Шахрая в этот день, на которой вице-премьер твердо заявил, что не будет ни штурма Белого дома, ни чрезвычайного положения. Как мы все знаем, у наших властей уже вошло в привычку опровергать «слухи» о подготовленных ими акциях как раз перед тем, как эти акции начинают воплощаться в жизнь.

Операция по дезинформации и дезориентации сидящих в Белом доме вошла в новую стадию. Если до этого их доводили до психоза бесконечными сообщениями о готовящемся штурме, результатом чего были постоянные учебные тревоги, беганье в противогазах и т.п. изматывающая хаотическая деятельность (сохранилось множество красочных описаний этого психоза, см., например, «Московский комсомолец», 28.09.1993; «Литературная газета», 29.01.1993), то теперь в Белый дом потоком шли сообщения из силовых министерств (в первую очередь, Минобороны) о «поддержке Руцкого и Конституции». То, что такие сообщения в Белый дом действительно поступали и что контакты между Белым домом и руководством частей силовых министерств имели место – несомненно. На этот счет имеется слишком много доказательств. Дело доходило до командующих округами, флотами, заместителей министра обороны Б. Громова и В. Миронова и главкома ВВС П. Дейнекина («Комсомольская правда», 8.10.1993); Спецвыпуск «Все о черном октябре», с. 39; «Новая ежедневная газета», 13.10.1993).

О том, насколько успешно руководители Белого дома были дезинформированы, с видимым удовольствием рассказал «Комсомольской правде» зам. министра безопасности С. Степашин. Баранников был уверен, что на его стороне 7 тыс. сотрудников МБР и целиком несколько управ-

лений МБР, Руцкого удалось убедить, что его поддерживают ВВС, ВДВ и «афганцы». Дело дошло до того, что Руцкой говорил Степашину: «Передай Ельцину – если он сейчас сложит с себя полномочия, если уйдет в отставку, мы, может быть, подумаем о том, чтобы сохранить ему жизнь» и «Вы только березы в Кремле, пожалуйста, не спиливайте – они нам еще пригодятся...» («Комсомольская правда», 19.10.1993). Даже в последние часы Руцкой и Хасбулатов ожидали подхода воинских частей, «обещавших» им свою поддержку («Аргументы и факты», 1993, № 41).

Невозможно пока сказать, насколько эти заявления о «поддержке» были следствием разногласий внутри силовых министерств, а насколько – продуманной кампанией по дезинформации Белого дома. (Командир Кантемировской дивизии, например, заявил, что его подчиненные ни при каких обстоятельствах в Москву не войдут («Коммерсант-DAILY», 23.09.1993) – и в Белом доме об этом знали). Есть, однако, косвенное доказательство того, что Руцкой и Хасбулатов пали жертвой «дезы»: если бы в силовых министерствах действительно имелись в значительном количестве противники Ельцина, обещавшие свою поддержку Белому дому, мы сейчас были бы свидетелями не массовой раздачи наград, а массовой чистки: ни одно психически здоровое правительство не станет терпеть в силовых структурах офицеров, а тем более высших офицеров, уже продемонстрировавших свою нелояльность.

Одновременно с 29 сентября стянутый в Москву ОМОН ставится приказами в такое положение, которое не дает ему продемонстрировать свои возможности. Московскую милицию, которая, в отличие от «пришлого» ОМОНа, и сама хорошо разбирается в ситуации в столице, начальство искусно дезорганизует серией хаотических взаимоисключающих приказов. Заместитель начальника одного из московских отделений милиции рассказал журналистам «Известий» о той фантастической дезорганизации, которую устроило милицейское начальство в Москве. Такой феерический бардак «случайно» устроить нельзя, только целенаправленно. Газета вынесла в заголовок слова зам. начальника: «С пятницы мы получали невразумительные приказы от руководства» («Известия», 7.10.1993). Милицией проводят-

ся какие-то бредовые суетливые операции, направленные против реально не существующего противника («Известия», 1.10.1993). Складывается впечатление (совершенно не соответствующее истине, разумеется), что ОМОН не в состоянии справиться с немногочисленными толпами сторонников Белого дома, состоящими наполовину из стариков и женщин. Милиция несет потери (подполковник В. Рештук). В первую очередь это дезориентирует самих сторонников Белого дома, у которых складывается явно преувеличенное представление о своих боевых способностях. Одновременно и избиваемый ОМОН, который прекрасно понимает, что, получи он разумные приказы, всех дел-то – на полчаса, начинает звереть. Это озверение проявится «когда надо» – то есть в период «чрезвычайного положения». То, что силы МВД прекрасно справились с поставленной задачей, подтверждается и присвоением 1 октября министру Ерину звания генерала армии. Одновременно это – аванс за 3-4 октября.

В значительной степени испуганы и дезинформированы также общественность и пресса. Операции 3-4 октября должна предшествовать пропагандистская подготовка. Причем (по соображениям секретности) желательно, чтобы хоть частично в этой подготовке многие приняли участие спонтанно. И вот журналисты «Коммерсанта» уже пишут: «К вечеру 29 сентября сторонники парламента начали возводить баррикады практически во всем центре Москвы... в ход пошли даже перевернутые троллейбусы... ситуация в Москве может выйти из-под контроля» («Коммерсант-DAILY», 30.09.1993). Конечно, «баррикад практически во всем центре» не было, но такая устрашающая информация – как раз то, что нужно президентской стороне. «Московский комсомолец» публикует заметку: «Осада Белого дома: число жертв растет. За шесть последних дней в автокатастрофах погибло 32 человека» («Московский комсомолец», 29.09.1993). Автокатастрофы, понятно, из-за блокады Белого дома и уличных беспорядков. Скрытый смысл заметки тот же: пора, наконец, покончить с этим безобразием!

30 сентября в «Известиях» появилась карикатура на знаменитый плакат Моора: Руцкой в буденовке тычет паль-

цем: «Ты записался защитником Белого дома?» На заднем плане, *горящий* Белый дом. Само обращение к плакату времен *гражданской войны* тоже очень показательно. Еще пример: в «Московской правде» появляется огромная статья Л. Колодного «Почему развалился наш Союз» («Московская правда», 1.10.1993). Статья откровенно связывается во вступлении и в заключении с ситуацией противостояния в Москве. Основной смысл статьи: СССР развалился потому, что Горбачев в момент первого серьезного кризиса в стране – Карабах и Сумгаит – не осмелился ввести войска в Степанакерт и Сумгаит и беспощадно, «железной рукой», невзирая на лица и жертвы, подавить «очаг напряженности». Призыв, яснее которого не бывает.

Но это – для «чистой публики», для тех, кто привык к сопоставлениям, обобщениям, выкладкам, большим статьям. Для «широких народных масс» есть «несгибаемый революционер» – ельцинский неофит Валерия Новодворская. 29 сентября «Московский комсомолец» публикует ее короткую и простую, но доходчивую статью-приказ «Их надо сбросить с перевала». Их – это врагов Ельцина, то есть демократии и В. Новодворской. Лера пишет, как подковыкует: «Если бы людоедов с красными флагами... почаще угощали дубинками... они бы не обнаглели так... по улицам должны ездить казацки сотни и оперативно реагировать на каждый красный флаг... В августе 1991 года мы не добились коммунистов, мирное сосуществование с которыми так же невозможно, как сожительство с гадюкой или скорпионом... И если сейчас, в 1993 году, мы вдобавок не добьем Советы... 21 сентября президент, бесспорно, совершил героический поступок. Ради России он в очередной раз положил голову на плаху... Первый бой выиграл «МК»... И «МК», и ДемРоссия, и интеллигенция, и ДС... Два подвига Геракла президент совершил... Советы надо ликвидировать на всех уровнях... ФНС, РОС, РКП, КПСС и т.д. ... Организации этого сорта указом президента должны быть запрещены... Дать землю в частную собственность... У нас хватает врагов. Их надо сбросить с перевала... вампирам, обречшим смертной казни чуть ли ни весь народ, кроме символического осинового кола ничего не положено... Революции устраивать – это вам не фиалочки продавать». Вот так. Программа действий. Коротко и прямо. С последней

прямотой. Как говорил другой крупный демократ (и ближайший соратник еще более крупного демократа – Эдуарда Шеварднадзе) – незабвенный Джаба Йоселиани: «Демократия – это вам не лобio кушать. Всех врагов демократии будем расстреливать на месте».

Обрывки информации о подготовке исполнительной власти к решительным действиям все же просачиваются: 30 сентября «Правда» сообщает о «спешных приготовлениях» в «Матросской тишине»: уплотняются камеры, заключенных с верхних этажей переводят вниз, коридоры тюрьмы нашпигованы «большим количеством атлетически сложенных молодцов в штатском». Становится известно о совещании М. Полторанина с редакторами пропрезидентских газет, где им рекомендовано «правильно и спокойно» отнестись к тому, что произойдет 4 октября. Об этом сообщают Санкт-Петербургское TV и «Правда» («Правда», 2.10.1993). Поэтому «операцию прикрытия» надо продолжать: ОМОН по-прежнему демонстрирует власть, часть оцепления Белого дома даже куда-то уводится, 1 октября по каналам ИТАР-ТАСС распространяется заявление пресс-службы Министерства безопасности, заставляющее заподозрить, что среди чекистов назрел раскол. Наконец, неизвестно где скрывающийся министр Грачев дает приказ о снятии с 30 сентября усиленной охраны со всех объектов в Москве и отправке еще нескольких тысяч военнослужащих «на картошку». Газета «Сегодня» услужливо сообщает на первой полосе: «Генерал Грачев выводит войска из Москвы» («Сегодня», 30.09.1993).

Один из старших офицеров ВДВ спустя месяц после кровавых событий рассказал журналистам, что в ВДВ еще 1 октября знали, что «3-го начнется перестрелка, которая и послужит основанием для начала операции против БД», то есть Белого дома («Аргументы и факты», 1993, № 44.

И вот правительство Российской Федерации в Москве предъявляет Белому дому ультиматум: сдатьcя до 4 октября. Почти все средства массовой информации передали этот ультиматум в изложении. Поэтому интересен полный текст, особенно последний абзац: «Правительство Российской Федерации и правительство Москвы предупреждают,

что невыполнение настоящего Требования может повлечь за собой тяжкие последствия. В этом случае вся ответственность за такие последствия ложится на Р.И. Хасбулатова и А.В. Руцкого» (цит. по: «Российские вести», 1.10.1993). Яснее некуда.

Садовое кольцо и Белый дом

Все началось не 3, а 2 октября, на Смоленской площади. Приблизительно через часа полтора после начала оба проходивших там митинга – анпиловский и ФНСовский, каждый с числом участников не более 500 человек – стали выдыхаться. Ораторы сказали все, что могли, силенок у митингующих было маловато, вели они себя в основном спокойно, так же как и милиция. ФНСовцы успели даже принять резолюцию, то есть их митинг официально можно было считать завершенным. Толпа начала рассасываться. Тут и появились омововцы – небольшим числом (50 чел.) и без щитов и шлемов. Очевидно, прислать их в таком виде можно было только, чтобы их побили. Естественно, так и случилось. Омововцы почему-то решили «рассеять» митингующих. «Рассеивали» дубинками. При этом, по некоторым данным, погиб пожилой инвалид – от удара омововским ботинком по голове («Бюллетень левого информцентра», 1993, № 39, с. 4). Толпа, столкнувшись с теми, кто лупил ее уже несколько дней подряд на Пресне, озверела и принялась «мочить» ОМОН. Возникли баррикады. Загорелись шины и пустые ящики. О происходящих беспорядках рассказали радио и TV, и на площадь устремились подкрепления к демонстрантам. Чем бы все это кончилось – неизвестно, но появился в конце концов Илья Константинов, который сагитировал всех разойтись – и толпа удалилась по Арбату с пением песен и скандированием «Руцкой – президент!» (удачный лозунг: ритмически произносится так же, как «Спартак» – чемпион!). TV поведало вечером зрителям, что демонстранты скандировали «лозунги, оскорбительные для президента Ельцина», и вообще освещение событий оставило у всех ощущение полной безнаказанности демонстрантов и бессилия «стражей порядка».

Трудно сказать, что мы наблюдали 2 октября на Смоленской: было ли это «генеральной репетицией» 3 октября

или неудачной (из-за И. Константинова, среди прочих причин) попыткой запустить механизм провокации. Как бы то ни было, омонцовцы, избитые 2 октября, были деморализованы и готовы к тому, чтобы 3-го бежать с «поля боя». И. Константинов 3 октября на Октябрьской площади (где он должен был быть одним из главных ораторов и организаторов) оказался на обочине событий и воздействовать на ситуацию уже не мог. 3-го числа на Октябрьской он уже в панике метался позади толпы и растерянно причитал: «Что происходит? Куда они все идут? Кто их ведет?» Этому было много свидетелей, начиная с журналистов «Курантов» (см. «Куранты», 5.10.1993) и кончая корреспондентом Радио «Свобода» в Москве С. Шустером.

Тогда же, 2 октября, по примеру Грачева «потерялся» президент Ельцин. Позднее нам рассказали: выехал на дачу. У юристов это называется: обеспечить алиби.

Нейтрализации Константинова способствовали, видимо, сумбурные перемещения толпы 3 октября – с Октябрьской на Площадь Ильича и обратно. Да и внешне люди, собравшиеся к 14.00 на Октябрьской площади, не выглядели готовыми к активным боевым действиям: много женщин, пожилых, некоторые с детьми – они ведь собрались на «всенародное вече». Собравшихся 3 – 3,5 тыс. чел. Площадь блокирована так же, как и 1 мая, с той лишь разницей, что теперь перекрыт и Ленинский проспект, а омонцовцев и милиции куда больше.

Дальше начинаются «чудеса». Демонстрантам вдруг сообщают, что их разрешенный митинг запрещен, и пытаются разогнать их. «Разгон» этот больше смахивает на сознательное подталкивание демонстрантов в сторону Крымского моста. И вот под водительством скандально известного «демократа» Уражцева, внезапно ставшего лучшим другом еще вчера ненавидимых им генералов и коммунистов, безоружная толпа с легкостью необыкновенной прорывает заслон ОМОНа, разоружает омонцовцев и накатывается на следующий заслон – на Крымском мосту. Остальные заслоны, стоявшие на Октябрьской площади, почему-то не пытаются «пресечь беспорядки» ударом с тыла, а с интересом и даже благодушно наблюдают за развитием событий. За-

тем и вовсе бесследно исчезают. Судя по всему, у них такая роль в сценарии.

У Крымского моста, в начале эстакады в принципе можно сдержать и рассеять любую толпу. Но заслон поставлен «почему-то» уже в глубине моста. Правильно: втянувшейся на мост толпе некуда будет рассеиваться (не с моста же прыгать!) – и она *будет вынуждена* прорываться сквозь кордон. ОМОН встречает демонстрантов слезоточивым газом. Газ тут же сдувается постоянно дующим над Москвой-рекой ветром. Невозможно не знать заранее, что так и будет. Газовая атака, таким образом, носит бутафорский и раззадоривающий толпу характер. Кордон на Крымском мосту прорывается так же подозрительно легко, как и на Октябрьской площади. Тут же впервые фиксируется и ошеломившее всех зрелище: часть ОМОНа бежит «со скоростью, удивившей даже быстроногих журналистов» («Известия», 7.10.1993). Игорь Андреев из «Известий» удивлялся напрасно: ОМОН систематически тренируется, в том числе и бегают.

Впечатление такое, что бегущий ОМОН показывал демонстрантам, что делать дальше, чтобы они, упаси боже, не остановились на полпути и не пошли «не туда».

Разоружив омовцев, толпа в восторге побежала по Садовому. На площади у метро «Парк культуры» – идеальное место для того, чтобы блокировать и рассеять демонстрантов (есть куда рассеивать и невозможно «обтечь» заслоны). Разумеется, такие попытки предприняты не были. На Зубовской – еще одно аналогичное место, хотя и похуже (есть варианты обходов). Но – тоже никаких попыток заслонов.

Омовцы бегут прямо до Смоленской, где стоит очередная заслон. Корреспондент Би-Би-Си Григорий Нехоршев описывал это бегство так, словно рассказывал о разгроме фашистов под Москвой: «Омовцы бегут, бросая оружие и технику, демонстранты догоняют их, избивая и отбирая все, что можно отобрать».

Если бы не гонка за омовцами, демонстранты могли бы вообще не столкнуться с кордоном на Смоленской, сто-

явшим ниже впадения Арбата в Садовое кольцо, а могли бы, свернув на Смоленскую улицу, выйти по Смоленской набережной к Белому дому, не встретив никаких кордонов вплоть до линии его оцепления! Но тогда не было бы захвата как бы случайно брошенных омоновских грузовиков и автобусов, на которых демонстранты подъехали уже к Белому дому – не было бы такого мощного психологического фактора, как *захват боевой техники*.

Здесь интересен вопрос, почему кордоны вообще стояли именно на пути следования от Октябрьской площади к Белому дому – как перст указующий? Почему их не было на других направлениях? А если бы демонстранты свернули, например, по Кропоткинской улице к Кремлю (Красная площадь – традиционное место митингов и демонстраций, Кремль – штаб-квартира ненавистного им Ельцина)? А если бы они пошли на Тверскую – к Моссовету? На Пушкинскую? План проведения «всемирного веча» штурма Белого дома не предусматривал. Откуда знали милицеские власти, по какому маршруту они должны ставить свои подозрительно непрочные кордоны?

Можно спросить руководство МВД и вот о чем: почему, имея столько техники (брошенной где ни попадя с ключами), милиция и ОМОН ни разу не попытались использовать ее как кордон – для того, чтобы перекрыть улицу? Ранее эта тактика применялась неоднократно – последний раз 1 Мая. Вроде никто не помнит, чтобы такую блокировку демонстрантам удалось прорвать. Неужели с 1 Мая этот прием успели забыть? Не верю: Белый дом-то был блокирован именно автотехникой!

Для версии о провокации показательно еще и упорство, с которым руководство МВД отрицает факт бегства своих сотрудников и сдачи ими оружия, спецсредств и техники – якобы ничего этого не было, разве что отобрали у отдельных милиционеров, избитых уже «до бессознательного состояния». То, что это ложь, – могут подтвердить десятки, если не сотни очевидцев событий, не говоря уже о десятках миллионов телезрителей. Отрицать очевидное руководству МВД приходится потому, что иначе не удастся объяснить, за что 8 октября обрушился на милицию поток наград

– включая Звезду героя на грудь министра Ерина. Ведь, по логике событий, после позорного поведения своих подчиненных 3 октября, и министр, и начальник ГУВД Москвы В. Панкратов, и многие другие высшие чины МВД должны были слететь со своих постов.

Между тем, к прибытию демонстрантов у Белого дома все уже было готово: было снято и уведено омовское оцепление со стороны Нового Арбата, и Белый дом «блокировался», собственно, лишь цепью поливальных машин, через которые демонстранты легко перелезли. 6 октября начальник ГУВД поведал журналистам, что это, оказывается, была «эвакуация» с целью «передислокации сил» («Известия», 7.10.1993). Надо признать, что эвакуация и передислокация были проведены блестяще: вплоть до утра 4 октября никаких следов эвакуированных и передислоцированных не удавалось найти.

Еще 2 октября в бывшем здании СЭВ (в штабе блокады Белого дома) находилось от 3 до 5 тыс. вооруженных бойцов. 3 октября – еще до прорыва демонстрантами блокады – они быстро и незаметно исчезли («Коммерсант-DAILY», 9.10.1993). Правда, забыли часть экипировки (очень любопытные, кстати, вещи: снайперское оружие, огнеметы, гранатометы). Теперь мэрию можно было легко взять штурмом. Было бы желание.

Тут же раздались первые выстрелы – от мэрии. Это засвидетельствовано и тележурналистами, передававшими сообщения с места событий. Демонстранты отхлынули, два человека было ранено. Причем стреляли не только по демонстрантам, но и по окнам Белого дома («Московские новости», 10.10.1993). Результатом стал штурм гостиницы «Мир», причем милиции был дан приказ уйти («Известия», 7.10.1993), отошел также и правительственный БТР («Коммерсант-DAILY», 4.10.1993), и демонстрантам противостояли лишь необученные еще новобранцы из дивизии им. Дзержинского, которые тут же сдались в плен.

«Силовые» министры Белого дома, из собственного опыта знающие, что такое провокация, безуспешно пытаются на этом этапе приостановить развитие событий. Журналисты фиксируют «министра обороны» Ачалова, бегу-

щего куда-то по лестнице и кричащего в передатчик: «Министр обороны приказал никому ни при каких обстоятельствах не стрелять! Это провокация! Занять оборону согласно боевых расчетов!» Баранников настроен пессимистичнее. Так же на ходу он выкрикивает: «Это катастрофа!» («Московские новости», 10.10.1993).

А вот на Руцкого стрельба, похоже, подействовала так, как и было запрограммировано авторами провокации. Советник Руцкого А. Федоров считает: «...не было бы этих выстрелов, не было бы «Останкино» и многого другого. Это взорвало ситуацию и взорвало Руцкого. Он из политика превратился в военного» («Аргументы и факты», 1993, № 41). Запись радиопереговоров в этот момент также свидетельствует, что Руцкой просто остервенел, увидев, что защитников Белого дома и сам Белый дом обстреливают из мэрии («Новая ежедневная газета», 15.10.1993).

В 16.35 Руцкой призвал к штурму мэрии. Через 4 минуты 20 секунд мэрия взята с боем. Пока шел бой, оцепления ОМОНа, милиции и дивизии им. Дзержинского с других сторон Белого дома срочно стали грузиться и уезжать. Мы уже знаем, что это такое: «эвакуация с целью перегруппировки». С точки зрения военной – дикость.

У здания мэрии как бы случайно «забыты» 10-15 армейских машин для перевозки личного состава и автобусы с ключами в замках зажигания. На стороне повстанцев (теперь уже речь действительно идет о восстании) оказываются вдруг 4 БТРа – из числа тех, что стояли в оцеплении Белого дома. (Кстати, о том, как это произошло, военное и милицейское командование до сих пор старается ничего не говорить.) И с трибуны Белого дома и по ТВ рассказывают о переходе на сторону Руцкого подразделений милиции и части военнослужащих дивизии им. Дзержинского. ТВ даже показывает их. Газетчики позже также напишут, что лично видели этих людей. Руководство Минобороны и МВД после 4 октября опровергнет эти сообщения. Но люди-то были. Кто они? Куда они делись? (20 октября «Новая ежедневная газета» расскажет: во время танкового обстрела в зале Совета Национальностей укрывались –

вместе с депутатами – 200 военнослужащих дивизии им. Дзержинского, перешедших на сторону Белого дома.)

Итак, события на Октябрьской площади начались после 14.00. Через два с половиной часа был уже разблокирован Белый дом, взяты гостиница «Мир» и мэрия и район Пресни очищен от правительственных сил. С невероятной скоростью демонстранты пронесли от Октябрьской до Пресни, причем толпа выросла с 3 до 10-15 тысяч, захватила оружие, спецсредства, технику. Совершенно очевидно, что у защитников Белого дома должно было сложиться впечатление, что правительство ситуацией не владеет, руководство силовых министерств тайно им помогает и что вообще никто Ельцина защищать не собирается. (Здесь нелишне сказать, что численность московской милиции – не считая ОМОН, спецназ, курсантов и дивизию им. Дзержинского – около 100 тыс. человек – см. «Независимая газета», 19.10.1993). Кровь уже пролилась. (Помните стрельбу от мэрии в самом начале разблокирования Белого дома? Тогда, кстати, можно было предотвратить кровавый штурм мэрии – с этой целью с демонстрантами смешались, не применяя оружия, спецназовцы-софринцы – и толпа действительно загнулась и закружилась на месте. Тут по ней и по софринцам открыли из мэрии огонь – и начался штурм. Сохранились записи радиопереговоров между милицией и софринцами – это документ, от него никуда не денешься.) Что же касается техники, «случайно» брошенной с ключами, то «Московские новости» справедливо замечают, что так грубо работают разве что в «банановых республиках» («Московские новости», 17.10.1993).

Руцкой успешно дезинформирован: на «милицейской» волне, которую он принимает и на которой вещает, неизвестно кто от имени командира софринцев Васильева сообщает, что «бригада перешла на сторону Белого дома. Милиция по своим рациям кроет Васильева. Руцкой в восторге требует от Васильева захватить мэрию (см. «Новая ежедневная газета», 15.10.1993). Итак, Руцкой поверил, что под его командованием целая бригада спецназа!

Но и на этой стадии исполнительная власть не забывает об «операции прикрытия». Дезинформация распространя-

ется по всем каналам, по каким можно. Классический уже пример: телефонный разговор члена Координационного совета «ДемРоссии» Льва Пономарева с замминистра безопасности, начальником управления МБР по Москве и Московской области Евгением Савостьяновым, ставший широко известным благодаря «Московскому комсомольцу» и «Известиям». В ответ на вопрос Пономарева, что происходит, Е. Савостьянов сообщает: мэрия взята, ОМОН, ОМ-СДОН, дивизия им. Дзержинского перешли на сторону Руцкого, верных Ельцину частей в Москве или поблизости нет, МБ ничего делать не намерено, и советует Пономареву со товарищи бежать и прятать семьи («Известия», 9.10.1993). О чем Пономарев тут же всем, кому только мог, растрезвонивает. Для чего, собственно, ему все это Савостьяновым и было сказано.

Останкино

События в Останкине, казалось бы, освещены так подробно, как только можно – в том числе и из-за журналистской солидарности. Однако в значительной степени это были репортажи по следам событий, ярко живописующие испуг тележурналистов и «героический» бой защищавших Останкино подразделений. Это были эмоциональные репортажи – и очень односторонние. По эстетике они напоминали знаменитый вильнюсский репортаж А. Невзорова «Наши».

Не существует и полноценного газетного описания «штурма Останкина». Непосредственный свидетель событий может, при желании, увидеть близкое к реальности описание событий, например, в репортажах «Известий» (5.10.1993) или «Комсомольской правды» (Спецвыпуск «Все о черном октябре», с. 16-17), но «человеку со стороны» это сделать не удастся. Единственное близкое к реальности описание дал экстренный выпуск «Коммерсанта» («Коммерсант-DAILY», 4.10.1993). Надо отдать должное «Независимой газете», осмелившейся опубликовать свидетельские показания (статья «Я видел это и не сошел с ума...»), которые, хотя и не давали общей картины произошедшего, но позволяли читателю почувствовать атмосферу и –

возможно – понять главное (см. «Независимая газета», 16.10.1993).

Начнем с того, что никакого секрета в намерении занять ТТЦ «Останкино» повстанцы не делали. Все происходило открыто – и призыв взять «Останкино», и формирование колонн около Белого дома, и загрузка грузовиков добровольцами (в основном, небооруженными). То есть не представляло труда перехватить повстанцев по дороге к Останкину. Тем более, что повстанцы были почти не вооружены, а правительственная сторона имела подавляющий перевес в силах. Помимо возможности перекрыть несколько раз движение на Садовом кольце (на площади Маяковского, в районе Цветного бульвара, где, кстати, были заранее сосредоточены значительные правительственные силы, и, наконец, на пересечении Садового с проспектом Мира) имелось прекрасное с тактической точки зрения место для остановки продвижения вдесятеро большей и вдесятеро лучше вооруженной колонны – в районе Рижского вокзала. На худой конец можно было организовать оборону в районе «Алексеевской» (хотя это и потребовало бы значительных сил – для перекрытия обходных путей). Ничего этого, разумеется, сделано не было. Разумеется – почти что иначе «страшные красно-коричневые» не попали бы в Останкино и вообще всем бы с самого начала стало очевидно, что силы повстанцев так невелики, что при желании с ними можно «разобраться» в несколько часов. Но желания не было.

2 ноября Петербургское ТВ показало поистине сенсационные кадры, как крупное подразделение ОМОНа, в полной боевой экипировке, с добрым десятком БТРов, безропотно пропустило в Останкино колонну «руцкистов» – практически не вооруженных. Пропустило, не сделав даже намека на попытку задержать (но и не присоединившись, а демонстративно игнорируя противника). Тележурналисты удивленно спрашивали: «Почему?» Наивные! – Потому что был такой приказ.

Более того. Значительная часть сторонников парламента отправилась в Останкино пешком. Свидетельница (литератор Л. Сурова) так описала этих людей: «...никакого неистовства, никакого звериного фанатизма. Это были

обычные, но разные люди, мои сограждане, мои земляки. Были молодые, старые, женщины, девушки... Папа с сыном лет 10... мы видели людей, никем не организованных... одни помягче, поинтеллигентнее, другие повоинственней... – но шли не убивать, не мстить... Что мы видели из оружия? Пять-шесть щитов металлических, одну дубинку, у кого-то еще кусок трубы водопроводной, а у одного мальчишки лет 15 – топорик... Никаких вооруженных боевых отрядов мы не видели» («Независимая газета», 16.10.1993). Ну уж эту-то толпу остановить – раз плюнуть было! Не остановили – пустили на смерть. Свидетельница Сурова так озаглавила свои показания: «Репортаж с места расстрела».

Примечательно, что позже начальник ГУВД В. Панкратов объяснял спешную эвакуацию правительственных сил от мэрии и Белого дома необходимостью переброски их для защиты «Останкина» («Известия», 7.10.1993). Излишне говорить, что никакой переброски не было.

Но в этом не было никакой нужды. Позже испуганные и обиженные журналисты стали приставать к руководству силовых структур с неприятными вопросами. Почему в Останкине так и не появились войска, хотя события там длились не один час? Почему руководству «Останкина» много раз обещали дать подкрепление и даже говорили несколько раз, что подкрепление уже вышло (и даже цифры называли), но этого подкрепления так никто и не увидел? И особенно интересно: куда делись посланные, как было заявлено, к «Останкину» не милицейские, а воинские части? От ответа на эти вопросы руководство силовых структур испуганно уклонилось. Уклонилось, в частности, и от ответа на вопрос, почему не остановили продвижение повстанцев в Останкино, тем более, что было несколько волн передвижения, и транспорт просто курсировал от мэрии к ТТЦ и обратно (см. «Известия», 7.10.1993). Уклонилось от ответа на вопрос, куда делись бронетехника и воинские части, появившиеся было вечером 3 октября в районах Таганской площади и Крымского моста. Уклонилось от ответа, кто остановил и куда развернул армейскую колонну, двигавшуюся от Центра в Останкино. Но кое-кто, выгораживая себя, «топил» других. Так, министр обороны П. Грачев признался, что «Останкино» защищали 400 воен-

нослужащих ВВ и спецназ ВВ (пресловутый «Витязь»), 6 БТРов, а с начала боевых действий подошли еще 15 БТРов и 100 человек милиции («Московский комсомолец», 8.10.1993). Оказывается, министр Ерин сообщил Грачеву по телефону, что сил вполне достаточно. И Грачев уверенно констатировал: «никакой катастрофической опасности не было» («Московские новости», 17.10.1993).

Министр был абсолютно прав. Достаточно прикинуть соотношение сил нападавших и оборонявшихся. Министр Грачев заявил, что нападавших, «по сведениям МВД, было около 4 тыс. безоружных и 100 вооруженных человек» («Московский комсомолец», 8.10.1993). Это, видимо, преувеличение. Все остальные источники сообщают, что осаждавших (безоружных) было от 1,5 до 5,5 тыс. чел. Что касается оружия, то сведения тут тоже разные. Все сходятся, что был 1 гранатомет, но вот число автоматов называют различное: 20, 35, 42, свыше 60, около 80. Возьмем максимум. Предположим, что был 1 гранатомет и 80 автоматов. Все равно получаем, что у нападавших было в 10 раз меньше сил, чем у оборонявшихся!

Наступающая сторона, как известно, для успешных действий должна иметь перевес в силе, хотя бы втроекратный. Наступающая сторона несет обычно втрое большие потери. У нападавших на ТТЦ не было техники (у оборонявшихся – 21 БТР). Защищавшиеся использовали как укрытие стены, нападавшие были на открытой местности. Защищавшиеся были прекрасно экипированы (шлемы, бронежилеты, снайперское оружие, пулеметы, переговорные устройства, приборы ночного видения), нападавшие – нет. Защищавшиеся были *профессионалами*, специально подготовленными для боевых действий. Каждый из них имел представление о ТАКТИКЕ, каждый был обязан в одиночку противостоять 1200 противникам в случае гражданских беспорядков. Наконец, нападавшие вели огонь наобум, по темной коробке здания АСК-3, оборонявшиеся вели *прицельный* огонь, по желанию и спокойно выбирая себе мишени. Собственно, в этом «Витязи» признались сами («Известия», 9.10.1993; см. также «Комсомольская правда», 8.10.1993; 13.11.1993).

На всякий случай около телецентра, скрывшись в тени, у железнодорожной платформы стояли 5 грузовиков с солдатами софринской бригады. В момент реальной опасности они должны были вступить в бой. Не вступили – не было такой опасности. Дождавшись прибытия к «Останкину» БТРов дивизии им. Дзержинского, софринцы спокойно уехали («Известия», 12.10.1993).

Не было *ни единого* шанса взять штурмом «Останкино». И генерал Макашов, как человек военный, должен был понимать это. Однако же он отправил своих людей (в большинстве невооруженных) на убой.

То, что случилось в Останкине, имеет только одно название – *бойня*. Правительственные силы устроили бойню оппозиции.

Однако mass media навязывает нам другую картину: «смертельной» опасности, «страшной» угрозы выхода «красно-коричневых» в эфир. Можно подумать, что если бы, например, Макашов вышел в эфир, это что-нибудь бы изменило. Два года массовое сознание россиян обрабатывали в одном духе, а пришел Макашов – и за 5 минут развернул массовые настроения на 180 градусов! Если это возможно, то Макашов – гений всех времен и народов. Не говоря уже о том, что «Останкино» просто можно отключить от энергии, как ранее отключили Белый дом.

Очевидно, нужно было нагнетание истерии, страха перед «террором красно-коричневых» – и именно с этой целью отключили эфир «Останкина». Сначала председатель ТРК «Останкино» В. Брагин утверждал, что сделал это для того, чтобы не пустить макашовцев в эфир и из-за того, что в здании шел бой («Куранты», 15.10.1993). Но собственные сотрудники приперли его к стенке, доказав на пресс-конференции, что технические возможности телецентра позволяли выходить в эфир безо всякого риска – из других студий. Более того, основной передающий комплекс, АСК-1, штурму вообще не подвергался, был в целостности и сохранности. Были передвижные телестанции (ТРС), позволяющие вести репортажи прямо с улицы. Передавать, в самом крайнем случае, можно было с телебашни. Не говоря уже о резервных студиях, о «Шаболовке» («Неделя»,

1993, № 41). Не говоря уже о существовании под Москвой резервного телецентра, который захватить никаким «мятежникам» просто не по силам: телецентр строился на случай ядерного удара, имеет шестиметровые бетонные стены и т.п. («Независимая газета», 19.10.1993). В конце концов выяснилось, что приказ «вырубить» «Останкино» Брагин получил лично от премьер-министра Черномырдина («Комсомольская правда», 14.10.1993).

Все логично. Если дать ТГЦ возможность освещать события в полном объеме, какой бы психоз ни владел журналистами, быстро станет очевидным, что «штурм «Останкина» – авантюра без малейших шансов на успех, что происходит избиение в основном невооруженных оппозиционеров. (Кого же могут испугать, например, такие «краснокоричневые звери»: «Группа школьников. Счастливые – слов нет.» – Мы сюда пришли народ защищать. От Белого дома. Мы и 19 августа тоже у Белого дома были – и тоже народ защищали. Не-е, мы одни в нашей школе такие смелые. Записывайте: Сережа Маркелов, Лана Кабайдулина, Леша Белоусов. Школа 294». – «Комсомольская правда». Спецвыпуск «Все о черном октябре». с. 10). Это – с одной стороны. А с другой – все увидят подозрительную «нерешительность» и даже прямо провокационные действия властей: чего стоит хотя бы правительственный БТР, сначала обстрелявший верхние этажи АСК-3, а затем – нападавших; журналисты «Известий», впрочем, рассказывают, что правительственные БТРы обстреливали заодно и Останкинскую телебашню, и окрестные жилые дома, а до того просто бесцельно кружили в районе боя и на вопросы граждан «за кого вы?» отвечали: «А ...его знает. Сидим да ездим» («Известия», 5.10.1993).

Да и правительственные силы – тех же «Витязей» – не удалось бы тогда представить «героями»: достаточно, чтобы телезрители увидели, как окружавшим «Останкино» людям – в том числе и просто любопытным, зевакам – сначала приказывают лечь на землю («Всем лечь! Будем стрелять!»), а потом освещают фарами и безжалостно расстреливают («Комсомольская правда», 13.11.1993) – и всем было стало ясно, что в Останкине происходило МАССОВОЕ УБИЙСТВО.

Показательно и то, что сотрудников АСК-3, хотя времени для эвакуации было в избытке, сознательно подставили под пули. Тем, кто работал в аппаратных, даже не сообщили, что вокруг здания идет бой (одна сотрудница, например, узнала об этом от домашних по телефону). Более того: в то время, когда уже готовился штурм и вокруг ТТЦ собирались нападавшие, в здании АСК-3 спокойно шли съемки передачи с участием детей! («Неделя», 1993, № 41).

Очевидно, те, кто готовил и проводил в жизнь провокацию, нуждались в «безвинных мучениках кровавого красно-коричневого террора». Лучше объекта, чем работники ТВ, было не найти: во-первых, многие из них – женщины, во-вторых, часть сотрудников широко известна населению и популярна, в-третьих, нетрудно представить себе, какую волну гнева поднимут позже журналисты против тех самых «красно-коричневых», «зверски умертвивших» их коллег.

Сотрудников АСК-3 эвакуировали (с большим опозданием) «Витязи». «Витязи» действовали разумно и профессионально – никто же не дал им открытого приказа пустить нападавших в здание и развернуть в нем как можно более долгий и разрушительный бой, с тем чтобы пострадало максимальное число сотрудников ТТЦ. Отдать такой приказ значит саморазоблачиться.

Гайдар и Ельцин

Но «безвинные жертвы красно-коричневого террора» все же нужны. И тогда Егор Гайдар обращается к согражданам с призывом собраться у Моссовета.

Если спокойно проанализировать призыв Гайдара, то станет очевидно: вице-премьер призывает *безоружный гражданских лиц*, являющихся *политическими противниками* повстанцев, сконцентрироваться в *относительной близости* от места дислокации *вооруженных повстанцев* (собственно, от Тверской до Белого дома совсем недалеко, во всяком случае, куда ближе, чем до Останкина). Все это выглядит до такой степени похожим на заклание, что даже в истеричной атмосфере вечера 3 октября нашлись люди, прямо призвавшие не слушать призывов Гайдара. В первую очередь, это были «Видовцы» Любимов и Политковский.

Тогда же, вечером 3-го, Петр Мамонов охарактеризовал призыв Гайдара как «провокационный» («Коммерсант-DAILY», 4.10.1993).

Все это заставило искать оправданий для Гайдара – как позднейшим комментаторам, так и самому вице-премьеру. Объяснение свелось к тому, что войска были якобы ненадежны, колебались, кого поддержать и поддерживать ли кого-то вообще, и потому, дескать, надо было показать военным, за кого народ.

Это объяснение не выдерживает критики. Причем независимо от того, были войска надежны или нет, колебались или нет, был раскол в командовании или не было.

Во-первых, сомнительно, что все военнослужащие сидели у экранов телевизоров и ждали, когда же им, наконец, покажут народ на Тверской. Армия, положим, подчиняется приказам, а не эмоциям, разбуженным телепередачами. Это, в частности, подтвердила и история с представителем президента Веретенниковым, пытавшимся «поднять Таманскую дивизию» (см. «Известия», 5.10.1993; «Новая ежедневная газета», 8.10.1993).

Но главное, подобное объяснение имело бы смысл лишь в том случае, если бы на защиту Белого дома свалились неизвестно откуда (ну, из Чечни, скажем) вооруженные боевики. Но ведь и Белый дом деблокировал *тоже народ!* И если военнослужащие следили за событиями, то они должны были знать, что это именно *безоружный народ* прорвал омовские кордоны, и деблокировал Белый дом, и вооружился. То есть *народ был и там, и там*. И у Белого дома, и у Моссовета». Тысячи людей были с обеих сторон. Тысячи людей с обеих сторон были нашими согражданами. Тысячи людей занимались одинаковым делом: строили баррикады. Совершенно непонятно, почему военные должны были поддержать народ у Моссовета и не поддержать народ у Белого дома.

Между прочим, понимание того, что «народ» был по обе стороны баррикад, в армии было: это видно из репортажей «по горячим следам». Так, в «Известиях» военный корреспондент Н. Бурбыга рассказывает, как во время штурма

Белого дома вдруг прекратилась канонада: прошел слух, что на защиту Белого дома идет стотысячная демонстрация. А воевать с народом у военных никакого желания не было («Известия», 6.10.1993). А вот еще диалог во время штурма Белого дома: – Как тебе Руцкой? – Нормальный мужик. – А чего же ты против него воюешь? – Приказ...» («Московский Комсомолец», 9.10.1993).

Есть еще одно доказательство того, что «ненадежную армию» вовсе не надо было «убеждать». Если бы вечером 3 октября в армии вдруг обнаружили «колебания» и «раскол», то проявиться эти «колебания» и «раскол» могли бы лишь в одной форме: в отказе командиров и частей выступить на защиту Ельцина и на подавление «мятежа». Но если бы так было, сейчас военные получали бы не награды, а развозились бы по камерам, поскольку отказ вечером 3 октября подавлять «мятеж» можно квалифицировать только как *соучастие в мятеже*. Да и командование, допустившее такое разложение в частях, было бы сменено. Вместо этого военным очередной раз пропели хвалу, раздали награды и осчастливили сверх того подарком: отменой отсрочки от призыва учащихся дневной формы обучения средних и средних профессиональных учебных заведений, а затем и увеличением бюджетных ассигнований.

Кстати сказать, если войска не выполняют приказов правительства, такое правительство можно уже считать свергнутым. И никакой «народ» тут не поможет.

Войск вечером 3 октября в Москве не было по той простой причине, что в этом не было нужды. Никакие стратегически важные объекты оппозиция не заняла. Никакие вооруженные части на сторону Руцкого не перешли. В Останкине правительственные силы устроили оппозиционерам кровавое побоище. Не было никаких оснований для паники. И. Серебряков, создатель столь популярной в армии телепередачи «Аты-Баты», также подтвердил это: «Я могу утверждать, что ничего *«на волоске не висело»*» («Московский комсомолец», 9.10.1993).

А теперь представим себе, что Любимов и Политковский, вместо того чтобы мешать Гайдару, стали бы ему помогать: накручивать истерику и призывать всех идти к

Кремлю и к Моссовету. В результате там собралась бы огромная толпа, куда больше той, что была (от 5 до 30 тыс., по разным источникам), которая неизбежно вошла бы в «соприкосновение» со сторонниками Белого дома. Предотвратить это было некому: милиция, как мы все знаем, в ночь с 3 на 4 октября дружно попряталась. И, похоже, не случайно.

И без того надо считать чудом, что никто из вооруженных сторонников Белого дома (а многие наверняка знали о призыве Гайдара – это засвидетельствовано киносъемкой известного режиссера-кинодокументалиста А. Сидельникова в ночь с 3-го на 4-е около Белого дома) не пошел «попугать этих демократов». Казалось бы, чего проще: подскочить к Красной площади или к Тверской, шугануть по собравшимся несколькими очередями, посеять панику. Физически это было несложно: рассказывали же по ТВ позже «защитники демократии», что, отчаявшись получить от Лужкова и Ельцина оружие, они отправились к Белому дому, получили там пистолеты и спокойно вернулись назад.

Версия о провокации делает призыв Гайдара не диким, бессмысленным, глупым, а чрезвычайно разумным, выверенным, обоснованным. Представьте себе, какой пропагандистский козырь оказался бы в руках правительства, если бы произошла хоть одна атака повстанцев на безоружных «демократов» у Кремля или на Тверской!

Терминология, к которой обратилась в ночь с 3 на 4 октября президентская сторона, также подтверждает эту версию. «Погромщики» и «бандиты» – это не то же самое, что «мятежники». Однако если внимательно изучить обращение президента Ельцина «К гражданам России» в ночь с 3 на 4 октября, в глаза бросаются следующие фразы: «В столице России гремят выстрелы и льется кровь. Свезенные со всей страны боевики сеют смерть и разрушение... Те, кто пошел против мирного города и развязал кровавую бойню... бандитов и погромщиков... бандитские отряды из наемников, привыкших к убийствам и произволу... расправляются с безоружными москвичами... они подняли руку на мирных людей, на Москву, на Россию, на детей, женщин и стариков... защитить наших детей, защитить

наших матерей и отцов, остановить и обезвредить погромщиков и убийц» (цит. по: «Московская правда», 5.10.1993).

Нетрудно заметить, что нарисованная в обращении президента картина событий в Москве как-то резко отличается от происшедшего в действительности. Какие «женщины, дети и старики», «матери и отцы» стали в Москве жертвами «погромщиков и убийц», «бандитских отрядов» «со всей страны», «сеющих» по всей Москве «смерть и разрушение»? Но представим на секунду, что повстанцы атаковали безоружных «демократов». Тогда все становится на свои места: и «женщины», и «дети», и «старики», и «смерть и разрушение».

Отсутствие кровавой трагедии на Тверской – единственный элемент провокации, который не удался, – к счастью для людей, откликнувшихся на призыв Гайдара, не зная, что им предназначалась роль почетной жертвы в политической игре.

Конечно, Гайдару помешали сами защитники Белого дома. И оружия в Белом доме было меньше, чем запугивали всех правительственные средства массовой информации (ракет «земля-воздух» все же не было), да и выдавали его не всем желающим сутки подряд (опечатанное оружие в ящиках показали нам потом по TV – его могли раздать, но почему-то не раздали, почему-то послали в Останкино безоружных; очевидец событий Ю. Нересов вообще утверждает, что на руки в Белом доме было выдано 200 с небольшим стволов – и в основном уже 4 октября после начала штурма. – «Рубикон» (СПб.); 1993, № 1), да и публика у Белого дома состояла все же не из бомжей, уголовников и погромщиков, собранных со всей страны. Даже ненавидящий «белодомовцев» Михаил Леонтьев в пропрезидентской газете «Сегодня», с изумлением писал: «Нам рассказывают и показывают, как банды озверевших национал-коммунистических погромщиков бродили по Москве, штурмуя телецентр, мэрию и различные иные общественно нужные объекты. Однако вы не найдете ни одного сообщения о разгроме беззащитного коммерческого ларька. Ужасные коммунистические экспроприаторы, немного полежав под шквальным огнем рядом с телецентром «Останкино», отбегали в

соседний киоск, покупали за деньги водку и шоколадки и возвращались назад, помирать за идеалы социальной справедливости. Киоски у Белого дома в «ночь беспредела» после его деблокирования, когда в городе даже с миноискателем нельзя было найти ни одного милиционера, сделали рекордную выручку» («Сегодня», 14.10.1993).

А такая агрессивно настроенная президентская газета, как «желтые» «Куранты», была вынуждена признать, что сообщения средств массовой информации о том, будто штурмовавшие «Останкино» повстанцы врываются в окрестные дома и грабили квартиры, – ложь («Куранты», 5.10.1993). Сам факт таких сообщений показателен. Они очень напоминают «руководство к действию». Не для повстанцев, разумеется, а для уголовников, которые вполне могли бы прикрыться именем «руцкистов».

Конечно, и у Белого дома были всякие. В том числе и мародеры. В том числе и баркашовцы, готовые «замочить» любого – и женщину, и ребенка – на основании одной только национальности. Но мародеры склонны были стянуть что-нибудь как раз из того Белого дома, который они якобы защищали. А у баркашовцев – дисциплина.

А властям нужна была кровь. Много крови. И пролитой именно мятежниками. Есть и другие подтверждения этому, кроме вышеперечисленных. Любимов с Политковским, подвергшиеся за свою позицию травле, изгнанные с работы, заклеянные в лучших традициях «времен застоя», не могли бы вызвать такой хорошо оркестрованной ненависти, если бы всего лишь «попали не в такт». Безусловно, они помешали запланированному большому кровопролитию. Безусловно, они помешали собрать в центре города такую большую толпу, что она бы неизбежно столкнулась с «руцкистами». И за это их и бьют сейчас. Е. Гайдар совершил оплошность, обмолвившись, что в крайнем случае планировалась и раздача оружия собравшимся. Столкновения «ельцинистов» с «руцкистами» – это и есть как раз такой «крайний случай». Не наблюдать же безучастно, как вооруженные сторонники парламента избивают безоружных сторонников президента! А уж когда оружие будет и у тех, и у других – начнется такое... Тут как раз и армия

подоспеет... А там хоть Белый дом до основания сноси, хоть тяжелой авиацией бомби – никто и не пикнет.

А просто так раздать гражданским оружие, построить в отряды и отправить на Белый дом – это дикость, конечно. Этого позволить себе Ельцин с Гайдаром не могли. Такое вполне доступно уровню понимания и президента, и, тем более, вице-премьера. Хотя призывы «выдать оружие и идти на штурм Белого дома, как выяснилось, имели место («Независимая газета», 19.10.1993).

Все, что они могли теперь сделать, – это постараться вынудить защитников Белого дома пролить как можно больше крови гражданских лиц при штурме Белого дома. И они это сделали.

Во-первых, они оттянули, как могли, штурм Белого дома (а вдруг все-таки произойдет «нападение бандитов на женщин и детей»?) – и дали собраться вокруг обреченного здания тысячам людей. Говорят, карту Москвы для министра обороны не могли найти целых 20 минут («Московские новости», 17.10.1993). Говорят, что у министра обороны не было даже схемы дорог, по которым техника должна двигаться к Белому дому. Говорят, схему искали всю ночь и нашли уже только 4 октября («Известия», 6.10.1993). Говорят, в Министерстве безопасности искали-искали, да так и не нашли карту подземных коммуникаций Белого дома («Московские новости», 17.10.1993). Ха-ха-ха. Позвольте не поверить. Это уже не армия получается, это анекдот какой-то. Это уже не министр обороны, а посмешище. Такая армия и такой министр никакой мятеж подавить не смогут, даже если мятежников будет пять человек и все они будут дошкольниками, вооруженными рогатками.

Давайте вспомним: в Тбилиси, Вильнюсе, Баку военные операции проводились именно ночью. П. Грачев утверждал, что старался избежать ночного боя, чтобы в темноте не стрелять по своим («Московский комсомолец», 8.10.1993). Но ведь и при свете дня 4-го числа правительственные силы постоянно обстреливали друг друга! («Известия», 5.10.1993; 6.10.1993; 16.10.1993; «Коммерсант-DAILY», 9.10.1993; «Комсомольская правда», 9.10.1993; «Московский комсомолец», 9.10.1993; «Куранты»,

6.10.1993; «Московские новости», 7.11.1993). Тем более, у правительственных сил было преимущество при ведении ночных боевых действий – специальное оснащение, которого не было у оппозиции.

И совершенно напрасно журналисты приставали затем к министрам с вопросами: где были войска, где они топтались, куда делся спецназ, почему, наконец, не были удалены тысячи зевак от Белого дома? («Известия», 5.10.1993; 7.10.1993; «Московский комсомолец», 6.10.1993). Бойцы из знаменитой группы «Альфа», непосредственно бравшие Белый дом, дали внятный журналистам, что это вряд ли было случайным. Как впряг ли было случайным то, что по толпе зевак стреляли с окрестных крыш «provокаторы и хулиганы», а основное число жертв и увечий в толпе было следствием танкового обстрела Белого дома («Известия», 19.10.1993). Кое-что относительно тех снайперов, которых бойцы «Альфы» назвали «provокаторами и хулиганами», удалось узнать. Некоторые из них оказались... сотрудниками Министерства безопасности! («Новая ежедневная газета», 20.10.1993).

Вообще, Белый дом защищался вяло (та же «Альфа», например, отметила, что гранатометы против танков применены не были – видимо, опять же из-за боязни попадания в «зрителей»), и защитники его были деморализованы. Корреспондент «Коммерсанта» Вероника Куцылло, просидевшая в Белом доме весь период штурма, так и не увидела ни разу, чтобы кто-то вел огонь из окон по осаждающим («Коммерсант-DAILY», 5.10.1993). К середине октября в Белом доме, по данным инженерных войск, было обнаружено всего 153 гильзы («Новая ежедневная газета», 15.10.1993). Положим, это неполные данные. Но все равно это невероятно мало. По логике вещей, стреляными гильзами в Белом доме все полы должны были быть усыпаны!

Бойцы «Альфы» дали известинскому журналисту понять, что от них хотели, чтобы они пролили побольше крови (и вообще, «кто-то» из организаторов штурма хотел, чтобы было побольше крови с обеих сторон), и уж во всяком случае, не брали бы живыми лидеров повстанцев.

«Альфа» «не поняла» этого желания, и теперь «где-то наверху» ею очень недовольны («Известия», 19.10.1993). Правильно – теперь арестованных надо судить, а как их судить по тем самым законам, на основании которых они и подняли «мятеж»? Да и мало ли что всплывет на процессе...

Позже стало известно, что «Альфа» получила приказ взять Белый дом штурмом, но не выполнила его и самостоятельно начала переговоры с Белым домом. За это руководство ГУО вычеркнуло большинство бойцов «Альфы» из наградных списков (см. «Московские новости», 7.11.1993).

Был ли заговор?

Вопрос о заговоре – о давно и методически подготавливавшемся Руцким, Хасбулатовым и вообще оппозицией мятеже – возник не вдруг и отнюдь не случайно периодически всплывает в речах президентского окружения. Дело в том, что такая формулировка содержится в уже цитированном обращении Ельцина «К гражданам России»: «Все, что происходило и пока происходит в Москве, – заранее спланированный вооруженный мятеж» (цит. по: «Московская правда», 5.10.1993).

Таким образом, эта точка зрения уже имеет определенный официальный статус и, видимо, следствие будет лезть из кожи вон, стараясь подтвердить ее. Другое дело, возможно ли это.

Ведь если был заговор, если мятеж был давно спланирован и подготовлен, – то первым заговорщиком и мятежником является Ельцин. Именно он нарушил Конституцию, разогнал парламент – и тем дал сигнал «мятежникам и заговорщикам» к активным действиям. Причем какие именно действия те предпримут (импичмент президента и т.д.), легко было представить заранее.

Е я бредовость, хаотичность, неподготовленность «мятежников» очевидны. Но, если принять версию о заговоре всерьез, то простой разбор действий «заговорщиков» показывает, что, как минимум, каждый из «заговорщиков» участвовал в каком-то собственном «заговоре», не состыкованном с «заговорами» его товарищей.

«Заговорщики» не готовили своих сторонников, объединенных в различные организации, к подобному повороту событий – и потому практически для всех потенциальных защитников Белого дома они стали неожиданностью.

«Заговорщики» не стянули заранее в Москву своих боевых способных сторонников из регионов, не рассредоточили их в городе или в ближайших пригородах на «явках», не вооружили заранее, не поставили перед различными боевыми группами четких и дифференцированных боевых задач.

«Заговорщики» не вели боевой подготовки своих «бойцов» (исключая баркашовцев, но те готовились сами по себе и вовсе не к «защите власти Советов» и не к «восстановлению СССР») – в результате на улицах несколько дней бушевали пенсионеры-сталинисты и визгливые бабушки, а «Останкино» штурмовали 15-летние романтических настроенные дурачки, не догадывающиеся, что от пуль надо хотя бы прятаться.

«Заговорщики» не готовили «союзнические» организации к взаимодействию, в результате чего постоянно возникали конфликты, например, между анпиловцами и панками, между баркашовцами и леваками (троцкистами и анархистами) и т.п. (см. «Бюллетень левого информцентра», 1993, № 38, с. 7). А по подсчетам журналиста Юрия Нерсеова, в Белом доме одновременно действовало 12 (!) конкурировавших и постоянно мешавших друг другу «штабов обороны»: Руцкого, Хасбулатова, зам. председателя Верховного Совета Воронина, Баранникова, Ачалова, Дунаева, Макашова, депутатской группы «Реформа армии», Союза офицеров, ФНС, «Трудовой России» и РНЕ («Рубикон» (СПб.), 1993, № 1).

«Заговорщики» не вели целенаправленной агитации в войсках, не разложили армию и не заручились заранее поддержкой конкретных командиров – под обещание высоких постов после победы заговора.

«Заговорщики» не имели ни техники, ни достаточного количества оружия. То оружие, которое у них было, хранилось в Белом доме со времен августа 1991 г., или принадлежало охране парламента, или было захвачено у противни-

ка. Для противодействия противнику необходимо было иметь, как минимум, противотанковое ранцевое вооружение или, на худой конец, достаточное количество взрывчатки. И вообще, в конце XX века никто не устраивает «заранее спланированных вооруженных мятежей» без танков. Учитывая, что один из лидеров «заговорщиков» – Александр Руцкой – был военным летчиком, логично было бы ожидать особо широкую вовлеченность в «заговор» ВВС. Но этого тоже не было.

«Заговорщики» ни сами явно не имели представления о тактике уличного боя, ни, тем более, не обучили ей своих сторонников: построенные ими «баррикады» не были препятствием для правительственной техники, бетонные блоки, сброшенные вокруг Белого дома, – как «защита» от танков – были расположены совершенно бездарно и прикрыть Белый дом от танковой атаки не могли. Не говоря уже о том, что для обстрела Белого дома танкам вовсе не потребовалось подходить вплотную к нему.

Это первая группа «ошибок» мнимых заговорщиков – на, так сказать, стадии подготовки.

Теперь – «ошибки» на первой стадии «мятежа». Во-первых, непонятно, почему «заговорщики», если они действительно заговорщики и все рассчитали заранее, безропотно отпустили милицию, ОМОН и военнослужащих дивизии им. Дзержинского из района Белого дома. Почему не разоружили, не отняли все бронежилеты, щиты, рации, технику, наконец? Не говоря уже о том, что взятых в плен военнослужащих, омовцев и милиционеров можно было использовать в качестве заложников, а то и просто, выставив их в окна Белого дома, сделать невозможным всякий штурм.

Во-вторых, непонятно, зачем «заговорщикам», рассчитав все заранее, вообще понадобилось куда-то ехать, что-то захватывать. На переговорах они требовали от Ельцина снятия блокады Белого дома. Теперь, когда блокаду снял «народ», вполне можно было ограничиться ответной блокадой мэрии, используя для нее ту же колючую проволоку, те же поливальные машины, а отрезать мэрию от энерго- и телефонных сетей уж точно не проблема. После

этого продолжить переговоры с Ельциным – но уже с позиции силы. А то и вовсе заблокировать своими вооруженными подразделениями, скажем, выезды из Кремля – и продолжать, как ни в чем не бывало, переговоры. В принципе, согласись Ельцин на досрочные президентские выборы – в те же сроки, что предлагал парламент, – и можно было бы считать, что «заговор» победил. О деталях (кто будет временно до выборов исполнять функции главы государства) – можно было бы договориться. А выиграть выборы после этого у Ельцина шансов было бы немного. Ну уж точно не больше, чем у Руцкого.

В-третьих, в захвате «Останкина» и мэрии вообще не было никакого смысла. Совершенно очевидно, что захватывались не стратегически важные объекты, а *символы*. Мэрия была ненавистным символом лужковской штаб-квартиры и штабом осады Белого дома. «Останкино» – ненавистным символом ельцинской пропаганды, «империей лжи». Разумеется, телевидение, как «средство массового поражения», в любом заговоре играет огромную роль. Поскольку большинство населения внушаемо, а значительная часть – исключительно внушаема (а в эпоху потрясений число исключительно внушаемых людей возрастает, по разным данным, до 70-90%), очевидно, что если людям методически и долгое время вдальбивать в голову любой бред (например, что Хасбулатов – инопланетянин, а Руцкой – Антихрист), то они в конце концов в него поверят. Но захват средств массовой информации должен *предшествовать* перевороту. Вот если бы «заговорщики» захватили телевидение и радио полгода назад и все это время вели разнузданную антиельцинскую пропаганду – тогда другое дело, тогда успех «заговора» можно было бы считать обеспеченным на 95%. Но какой смысл захватывать телевидение уже *после* начала «мятежа» – неясно. Тем более, что весь день 3 октября тележурналисты вели себя как паймальчики: все показывали, не врали, рассказывали даже о тех успехах «руцкистов», которые впоследствии были опровергнуты властями (о переходе на сторону защитников парламента милиции и части военнослужащих дивизии им. Дзержинского). Непонятно, зачем было захватывать телевидение и «устанавливать над ним контроль»? Неужели Руцкой и Хасбулатов предполагали, что «Останкино»

будет сообщать вещи, обратные действительности: ну, например, вся власть в Москве переходит, допустим, в руки «руцкистов», а тележурналисты, игнорируя это, знай себе сообщают: «Москва охвачена всеобщим восстанием против диктатора Руцкого. Тысячи москвичей, не желая подчиниться диктатуре, семьями топятся в Москве-реке и сжигают себя в специально для этого построенных срубках на улицах и площадях?»

Говорят, сторонники Руцкого планировали выйти в эфир с обращением к народу. Интересно, что можно сказать в таком обращении? «Продажный антинародный режим Ельцина пал»? Ну так через полчаса на АСК-1 можно было доставить видеокассету, дать ее в эфир и все бы услышали живого Ельцина, который бы спокойно говорил: «Неправда, не верьте, граждане, мой продажный антинародный режим вовсе не пал, а совсем даже наоборот...» И смех, и грех.

Руцкой и Хасбулатов знали, что власти в регионах их в основном поддержали. Что при этом можно было сказать в «телеобращении к народу»? «Граждане, ваши власти нас поддерживали и поддерживают, поэтому сохраняйте спокойствие, идите спать, а завтра работайте, как ни в чем не бывало»? Стоит ли ради этого рваться с боем на TV? И вообще, чтобы заглушить TV, достаточно взорвать энергоустановку ТТЦ. Не говоря уже о том, что для выхода в эфир достаточно было занять Останкинскую телебашню, которую, как оказалось, охраняли всего 4 милиционера! («Московский комсомолец», 29.10.1993).

В-четвертых, сосредоточившись на «Останкине», «заговорщики» почему-то проигнорировали «Шаболовку», которую, вероятно, было захватить даже легче, и вообще не взяли под контроль другие радиостанции и информационные агентства (робкая попытка с ИТАР-ТАСС выглядит просто смешной).

В-пятых, послав людей к черту на кулички – в Останкино, «заговорщики» почему-то проигнорировали действительно важные объекты управления: Совет Министров и Кремль. Предположим, не было сил их захватить (а в чем же тогда заключалось это «заранее планирование»?). Но

атаковать-то и дезорганизовать их работу можно было. Предположим, такие действия не смогли бы полностью обрезать все линии связи (на то оно и правительство, да и обычный радиотелефон так просто не прихлопнешь), но дезорганизация была бы полной, тем более, что правительству пришлось бы заниматься собственной обороной, а не чем-то другим.

В-шестых, несмотря на всю озабоченность «заговорщиков» «средствами связи», они не предприняли никакой попытки захватить структуры Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

В-седьмых, потерпев неудачу с «Останкино», «заговорщики» почему-то не предприняли попыток захватить независимые средства дальней радиосвязи. Еще забавнее, что «заранее спланировав мятеж», они не запаслись заблаговременно такими средствами.

В-восьмых, не было предпринято попыток взять под контроль не мэрию и ТТЦ, а действительно жизненно важные стратегические объекты: электростанции, телефонные станции, водонасосные и газораспределительные станции, вокзалы, казармы армии и МВД, комплекс зданий КГБ, здание Министерства внутренних дел, отделения милиции, военные училища, аэродромы, транспортные развязки. «Заговорщики» не удосужились занять даже ту подстанцию, которая снабжала электроэнергией Белый дом!

В-девятых, не было попыток овладеть арсеналами. С целью захвата оружия не были посланы отряды «мятежников» ни в воинские части, ни в отделения милиции.

В-десятых, не были посланы комиссары с соответствующими приказами Ачалова (еще лучше Руцкого как и.о. главнокомандующего) и при поддержке вооруженных отрядов в воинские части – а эта мера могла оказаться успешной как минимум в 30% случаев. Во всяком случае, известно, что кое-где «руцкистам» удавалось договориться об оружии с солдатами «дуриком», по собственной инициативе («Московский комсомолец», 9.10.1993).

В-одиннадцатых, не было предпринято попыток захватить или физически уничтожить лидеров противника (Ель-

цина, Черномырдина, Гайдара, Грачева) – с целью дезорганизации его сил. Кстати, эту меру разумно было бы даже провести до вооруженного выступления. А вот то, что Ельцин в такой напряженный момент – 3 октября – уехал из столицы, говорит как раз против него: именно это действие является косвенным свидетельством того, что он знал о дальнейших событиях и опасался «нестандартных» действий «мятежников». Интересно и то, что разные источники называют разное время прилета Ельцина в Кремль: 15.00 («Коммерсант-DAILY», 4.10.1993), 15.10 («Коммерсант-DAILY», 5.10.1993), 18.15 («Московские новости», 17.10.1993), 18.30 («Куранты», 5.10.1993), а то и вовсе расплывчато: «во второй половине дня» («Известия», 5.10.1993). Такой разницей наводит на мысли о сознательной дезинформации о месте и времени пребывания Ельцина.

Вторая стадия «мятежа» также изобиловала «ошибками» «заговорщиков».

Во-первых, и Руцкой, и Макашов, как люди с военным образованием, должны были наизусть помнить: «Оборона есть смерть всякого восстания». Однако они выбрали оборону.

Во-вторых, даже не захватив «Останкино», они не предприняли никаких попыток не то чтобы дезорганизовать противника, но даже дезинформировать его. Не захватили информационные агентства или радиостанции (или пункты западных радиостанций) и не заставили их передавать нужные для себя сообщения (о якобы переходе на сторону Руцкого войск, милицейских подразделений, тех или иных городских служб и т.д.). «Заговорщики» не пресекли передач с места Си-Эн-Эн.

В-третьих, непонятно почему «заговорщики» не покинули стратегическую ловушку Белый дом, не рассредоточились по бесконтрольному городу, а еще вернее – не вылетели (пока это было возможно) в один из поддерживавших их регионов (самолеты можно было и захватить – вооруженная сила для этого была, за штурвал одного из самолетов мог сесть и лично Руцкой: его имиджу это бы не повредило, скорее наоборот). Кстати, неясно, почему это не было

сделано сразу, еще до блокады Белого дома: Верховный Совет вполне мог бы собраться, например, в Амурской области или в Новосибирске (где его поддержали все ветви местной власти), создать там правительство, полномочное на контролируемой территории – удачные примеры такого рода у нас были: Комуч и Самарская директория, правительство Колчака.

Собственно таких ошибок можно еще привели десятки. Если бы существовал заговор – «заранее спланированный вооруженный мятеж» – их бы просто не могло быть. Даже если бы все «заговорщики» были сплошь дураками и непрофессионалами – ошибок бы не могло быть так много. Применительно же к руководителям «мятежа» можно констатировать: никто из них под обе категории одновременно не подпадает.

Кто выиграл?

Для ответа на вопрос, кто же все это спланировал и организовал, полезно, как принято в таких случаях, спросить, *qui prodest?* – кому это выгодно, кто выиграл?

Выиграл Ельцин. Он теперь – в немалой степени благодаря СМИ – «спаситель демократии», «победитель красно-коричневой чумы». Поскольку о несостоявшемся событии – победе Руцкого и Хасбулатова – можно фантазировать что угодно, открылась потрясающая возможность запугивать публику близкой опасностью «кровавого красно-коричневого террора», «миллионов жертв», «превращения страны в огромный концлагерь» и т.п. Что толку, что Руцкой с Хасбулатовым по уши завязли в нашем криминально-капиталистическом болоте – точно так же, как и Ельцин со своим окружением. Что толку, что у Руцкого с Хасбулатовым просто сил не было и неоткуда было их взять для «превращения страны в один огромный концлагерь» (были бы у них какие-то силы – они не стали бы мараться о баркашовцев: безусловно, они понимали, что фашисты их дискредитируют). В стране, где привыкли постоянно переписывать историю (а история – это факты, против них, казалось бы, не попрешь), *возможную историю* могут так изобразить, что ночью спать не будешь. Опять же Ельцин подтвердил свой статус «спасителя демократии» за рube-

жом – и огреб очередную денежную поддержку, которую никогда не получил бы без «мятежа».

Выиграли Ельцин и президентское окружение. Они *заставили* всю страну принять их правила игры – пойти на досрочные парламентские выборы по тем избирательным законам, которые они сами (под себя) придумали. Напомним, что после указа № 1400 избирательная компания и предвыборная работа практически в стране не велись (избирательные комиссии – и те не были сформированы). После «мятежа» эта избирательная машина закрутилась с огромной скоростью. В выборах согласилась участвовать даже оппозиция – даже «красно-коричневые», на явно невыгодных для себя условиях.

Выиграли Ельцин и сторонники создания общественно-политических структур, активно поддерживающих президента и контролируемых его окружением. Они нашли способ пробудить политическую активность своих сторонников по всей стране – в первую очередь, «пассивных ельцинистов», давно уже (как и большинство населения России) впавших в пессимизм и апатию. Теперь же можно раздувать истерию, строиться в колонны, создавать, наконец, жизнеспособные пропрезидентские партии и избирательные блоки. Теперь есть надежда на то, что пассивные и колеблющиеся сторонники Ельцина придут на избирательные участки – не потому, что они вновь поверили в Ельцина как в мессию, а потому, что они вновь испугались призрака Сталина.

Выиграли Ельцин, правительство и вообще исполнительная власть. Ельцин, как давно заметили его оппоненты, очень боится «отчетов о проделанной работе». Все этапы своего политического возвышения он прошел, не отчитываясь о сделанном: из кресла секретаря обкома без отчета в кресло секретаря МГК, из кресла секретаря МГК без отчета – в Госстрой, из Госстроя без отчета – в кресло президента, получал дополнительные полномочия – о результатах не отчитывался, возглавлял правительство – опять не отчитывался. После «мятежа» у Ельцина (и у правительства, и у всей исполнительной власти) появилась вновь возможность пойти на выборы без отчета о содеян-

ном. А если особо противные избиратели и будут задавать вопросы, теперь все можно валить на Верховный Совет и местные советы: мол, не давали, мешали, опутывали, саботировали – те возразить уже не могут, их уже разогнали.

Выиграли Ельцин, исполнительная власть и замкнутые на них криминальные кланы. Теперь вплоть до формирования органов новой законодательной власти исполнительная власть с Ельциным во главе сконцентрировала в своих руках все ветви власти: и исполнительную, и законодательную, и судебную. Фактически речь идет об установлении диктатуры (какие бы мягкие формы она не приняла). Исполнительная власть получила возможность самовольно принимать и изменять нормативные акты – вплоть до пересмотра проекта новой Конституции. Притом изменить или отменить решение исполнительной власти сможет только новая законодательная власть – но для того, чтобы она это сделала, она должна быть избрана, сформирована, должна начать работать, вникнуть в суть проблемы, убедиться в ошибочности и опасности принятых исполнительной властью решений, найти и разработать альтернативные варианты. Это требует значительного времени – как минимум полугодия после формирования законодательных органов. Выборы в новый парламент будут в декабре. Выборы в местные законодательные органы власти вообще растянутся до лета. Фактически исполнительная власть получила карт-бланш до конца 1994 г. За год – без контроля и без властных противовесов – можно не только всю страну разворовать, но и купить всех потенциальных следователей и уничтожить все улики. Да и парламент имеет все шансы быть неопасным – «карманным». К тому же Ельцин, правительство и криминальные кланы, связанные с исполнительной властью, получили возможность сформировать законодательную и исполнительную власти «под себя»: из удобных, «своих» людей, на условиях «состояния денежных мешков», с малым количеством депутатов – малое число людей легче держать под контролем, легче купить, повязать круговой порукой: очевидно, в компании из 1000 человек больше шансов, что найдется неподкупный фанатик-правоискусатель, чем в компании из 10 человек.

Выиграли Ельцин, правительство и сторонники право-

буржуазного жесткого монетаристского курса. Противники и критики этого курса – оппозиция – теперь дискредитированы, морально подавлены, лишены части организаций и большинства газет, поставлены под контроль силовых ведомств и под дамоклов меч запретов в связи со «вновь открывшимися данными» о «причастности» к «мятежу». В создавшейся обстановке можно считать выборы уже выигранными. Можно сосредоточиться не на экономических вопросах (где у Ельцина, Черномырдина, Гайдара и Чубайса одни провалы), а на идеологических. Реанимировать «образ врага».

Выиграли силовые ведомства. Их статус повысился, они продемонстрировали власти, что они – единственная реальная опора режима, им выделяют средства, им поют хвалу. Их права расширяются, их грехи списываются. Их ждут бюджетные вливания. Уже в 20-х числах октября размер ассигнований на военные нужды увеличивается почти вдвое – с 5% ВВП до 8,2% («Коммерсант-DAILY», 26.10.1993). Это – при хроническом бюджетном дефиците. И, вероятно, это еще не конец.

Выиграли пропрезидентские «ястребы» в силовых ведомствах. Теперь они смогут устранить из МБР «людей Баранникова», а из МВД – «людей Дунаева». В армии – по результатам действий тех или иных чинов во время «мятежа» – они получают возможность отстранить от власти «колеблющихся» (да и просто самостоятельно мыслящих) – и захватить их места. Заодно с несогласными могут полететь со своих постов и те, у кого «длинный язык». У Кобеца, например, прямо руководившего подавлением «мятежа», появился шанс «подсидеть» «самого» Грачева. Впрочем, усиление роли армии в политической жизни будет толкать и Ельцина к устранению Грачева, становящегося опасным конкурентом, – подобно тому, как Хрущев устранил в свое время Жукова.

Выиграли рядовые сотрудники силовых ведомств. Отвезя душу во время «чрезвычайного положения» в избиениях и унижениях, задержанных – правых и виноватых, всех без разбора, – они смогли самоутвердиться и утвердиться в глазах коллег. Набив карманы награбленным у тех же за-

держанных и вкусно поев и попив бесплатно с «согласия» безропотных продавцов коммерческих киосков, они должны прийти к выводу, что их жизнь – не такое уж дерьмо, как кажется, и что неплохо бы еще разок при случае поучаствовать в «мероприятиях по осуществлению режима ЧП»: почетно и прибыльно. Да и опыт рэкета, поборов и вымогательства у торговцев и вообще у всех, кто хотел бы попасть в «закрытую» Москву, придется, надо думать, сотрудникам силовых ведомств по душе и будет использован и в дальнейшем – по месту постоянной службы. И вообще, при режиме ЧП в доход можно превратить все, что угодно: участие (для журналистов) в ночном патрулировании – цена 25 тыс. руб. в час: интервью с военнослужащим в маске (якобы спецназ) – \$50; проход в Белый дом на 1-2 этажи – от \$20 до \$50; инсценировка для фотосъемки прорыва спецназа в Белый дом – \$100; и т.д., и т.д. («Новая ежедневная газета», 8.10.1993). Так формируется *социальная база режима* чрезвычайного положения.

Выиграли московская мэрия, мэр Лужков и его подчиненные. Они ликвидировали конкурента – Моссовет, ликвидировали потенциальную опасность свержения, а заодно и угрозу уголовного преследования в связи с «темными финансовыми делами» и коррупцией, в которых многие обвиняют Лужкова и его аппарат. Занимавшиеся именно этими «делами» члены комиссии Моссовета по законности во главе с Седых-Бондаренко не случайно были все арестованы: Лужков сводил счеты. А перерегистрация коммерческих киосков после упразднения райсоветов с неизбежностью при этом взятками – ну что же, это «плата за верность» и «плата за страх». И вообще, теперь много на чем «вся мэрская рать» сможет погреть руки: и вот уже мэр Лужков аннулирует все решения райсоветов о предоставлении квартир частным лицам, а также о передаче в аренду, в хозяйственное ведение и в собственность нежилых помещений и зданий организациям, принятые после 12 июля 1991 г.! («Московский комсомолец», 26.10.1993). Вы слышите шелест купюр? Заодно Лужков и его подчиненные наложили лапу на имущество Советов в Москве, в первую очередь захватив и поделив райсоветовские здания – лакомый кусочек (см. «Московский комсомолец», 3.11.1993).

Выиграли криминальные кланы, связанные с исполнительной властью. Теперь они могут быть уверены, что действия правоохранительных органов против них будут свернуты, более того, теперь они получили возможность «скорешиться» с «замазанными» силовыми ведомствами. Теперь под удар попадают криминальные кланы, связанные с законодательной властью и с Рудком и его окружением. Сферы влияния этих кланов после их разгрома будут захвачены и поделены преступным миром, поставившим «правильно» – на президента и исполнительную власть.

Выиграли радикальные правобуржуазные круги как в правительстве и окружении президента – «тэтчеристы», монетаристы, «чикагские мальчишки», – так и буржуазные праворадикалы на политической арене и в обществе вообще, вроде попа-расстриги Глеба Якунина и Льва Пономарева. Их рейтинг повысился. Они в своей стихии. Они могут игнорировать все свои провалы в политике и (особенно) в экономике – и лезть вверх, в новый парламент, раскручивать спираль политической истерии, концентрируя внимание общественности на ритуально-идеологических вопросах (вынести тело Ленина из Мавзолея, перезахоронить останки – неважно, подлинные или мнимые – императорской семьи, поснимать звезды с кремлевских башен, закрыть музей Ленина и т.п.).

Выиграли сторонники «сильной власти», «твердой руки», «ежовых рукавиц», «политической целесообразности». Они получили подтверждение, что «в России без кнута нельзя», что «разделение властей ошибочно в специфических русских условиях» и т.п. Теперь они будут пытаться увековечить временный режим диктатуры Ельцина и конституировать его. В конечном итоге, буржуазная демократия выгодна *правлящим слоям и классам*, но не обязательно выгодна *конкретным представителям* этих слоев и классов, стоящим в данный момент у власти. Авторитаризм, напротив, может быть менее выгоден *правлящим слоям и классам* (самодурство и волюнтаризм власти способны помешать получению доходов), но уж точно очень выгоден тем конкретным лицам, которые непосредственно стоят у власти.

Выиграли, наконец, сторонники унитаризма – в ущерб сторонникам федерализма. Авторитарная власть в федеральном государстве трудноосуществима. Сконцентрировав в своих руках всю власть в центре, Ельцин и его правительство должны по возможности нейтрализовать потенциальных конкурентов и на местах. Национальные автономии, опирающиеся на право наций на самоопределение, – последний не ликвидированный очаг «параллельной власти». Уничтожить полностью этот «очаг», видимо, невозможно. Но хотя бы временно уничтожить, парализовать или ослабить, пользуясь благоприятными обстоятельствами, – почему бы нет?

Кто виноват?

В принципе, целью данной работы не являлся ответ на вопрос «кто виноват?». Но, поскольку в России невозможно обойти этот классический вопрос, попробую на него ответить. Тем более, кровь пролилась – и требует ответа.

Разумеется, в первую очередь виноваты те, кто спланировал и подготовил провокацию – исполнительная власть, Ельцин, специалисты из МГБ. Это само собой разумеется, и на этом можно не останавливаться подробно.

Ельцин персонально виноват еще и как человек, подписавший указ № 1400. Когда он подписывал указ, он не мог не понимать, что открывает путь к гражданской войне, к кровопролитию, что для взрыва теперь будет достаточно любой искры, не говоря уже о провокации. Ничего не смыслящий в политике иеромонах Никон из Подмосковья – и тот это понимал («Комсомольская правда». Спецвыпуск «Все о черном октябре», с. 10). «Независимая газета» просто вынесла на следующий же день в подзаголовок на первой полосе слова: «Малейшая провокация или еще один безответственный шаг любой из сторон могут привести к гражданской войне» («Независимая газета», 23.09.1993). Ельцину теперь не отмыться от крови своих сограждан. Даже если предположить, что он настолько глуп, что не понимал, что делает, подписывая указ № 1400, он не сможет уже сказать, что его не предупредили о последствиях. Предупреждали. Печатно. С первых полос газет.

Но виноват и парламент. Он сам predetermined свою судьбу, когда разогнал парламент СССР. Тогда, два года назад, не один, не два, не три, а несколько десятков народных депутатов СССР дружно, не сговариваясь, предрекли своим российским коллегам (словно Дантон Робеспьеру в пьесе Станислава Пшибышевского): «Вы последуете за нами!» Тогда же многие аналитики дружно констатировали: эти слова могут стать пророческими. Но российский парламент не захотел их слушать.

Парламент виноват и в том, что сам, своими руками, возвышал и возвышал Ельцина, наделял и наделял его все новыми и новыми полномочиями – без всяких к тому оснований. Голоса возражающих отметались, хотя известно всем, что аппетит приходит во время еды. Парламент дал Ельцину так много власти, что тот вполне логично захотел иметь *всю*.

Парламент виноват и в том, что не пресек раз и навсегда попыток Ельцина «разобраться» с верховным законодательным органом и установить режим личной власти (в декабре 1992 г. и в марте 1993 г.). Политика колебаний, компромиссов, боязнь досрочных выборов, стремление сохранить теплые местечки в парламенте – все это и загнало в конце концов парламентариев в тот тупик, который кончился кровью.

Виноват и Конституционный Суд и лично его председатель Зорькин. Постоянное лавирование, попытки примирить непримиримое, позорное поведение Зорькина на VII съезде, где Конституционный Суд попрам Конституцию во имя «политического компромисса» – и спровоцировал тем самым позднее острейший кризис – все это также готовило кровавую развязку. А то, что Конституционный Суд оказался вовлечен в политическую борьбу на стороне парламента, и в то же время выступал как бутафория законности для исполнительной власти (например, распустил ФИЦ и не добился выполнения решения, а не добившись, не подал демонстративно в отставку, публично объявив: *законности в стране нет*), лишь усугубляет его вину.

Но основная вина, я уверен, лежит на лидерах «повстан-

цев» – персонально на Руцком, Макашове, Хасбулатове, Анпилове, Уражцеве.

Если Уражцев и Анпилов действовали как штатные провокаторы (особенно Уражцев – не удивлюсь, если в будущем выяснится, что он был платным агентом МБР; да и связь Анпилова с госбезопасностью еще с 70-х гг. – вещь вполне возможная), то Руцкой и Макашов несут особую персональную ответственность.

Разумеется, они поддались на провокацию. Но провокация – это *классический* метод политической борьбы, она существует ровно столько же, сколько политика. И даже дольше – провокация перешла в политику из опыта боевых действий. Собственно, «*provocatio*» на латыни значит «вызов». Вызов – это модное сейчас в политическом лексиконе слово. И когда нам говорят: «ответить на вызов современности», «ответить на вызов консервативных (либеральных, экстремистских) сил», то надо иметь в виду, что при чуть-чуть измененной лингвистической традиции мы могли бы услышать: «ответить на провокацию современности», «ответить на провокацию консервативных (или каких угодно) сил». Провокация как таковая – это действие, рассчитанное не на прямой успех, а на то, чтобы побудить противника совершить ответное действие, в данный момент для него невыгодное или же делающее ясной неясную до того ситуацию. Клеймо «нечистоплотности» на провокацию наложили ее жертвы, те, кто проиграл, – свое поражение они как раз и оправдывали тем, что против них «сыграли нечестно», то есть они приносили в дело *моральный аспект*. Те, кто в результате провокации выигрывал, вообще словом «провокация» не пользовались (в отличие от медицины). Они говорили: «удачный ход», «точно рассчитанный удар», «успешный маневр», «военная хитрость», наконец.

И все, кто начинал играть в политику, – в том числе и Руцкой, Хасбулатов, Макашов, – должны были учитывать возможность использования противником провокации. Тем более, что недавно Ельцин уже прибегал к провокации – в марте, со своим пресловутым ОПУСом. Тогда провокация была направлена как раз на вскрытие ситуации, на то,

чтобы заставить раскрыться *всех* политических игроков – в первую очередь Зорькина, Степанкова, власти на местах.

Более того, Руцкой и Макашов – люди военные. Провокация, как я уже говорил, пришла в политику из военного искусства. Там она – обычный, рядовой метод, широко применяемый. Например, разведка боем – это типичная провокация, направленная на то, чтобы заставить противника раскрыть свою оборону тогда, когда он этого не хочет. Руцкой и Макашов просто *обязаны* были это знать.

Провокации делятся на такие, которые *неизбежно* влекут за собой желательную для провокатора реакцию, и на такие, успех или неуспех которых зависит в значительной степени и от провоцируемого. В этом смысле провокация 3 октября вовсе не была фатальной. Никто под дулом автомата *не заставлял* Руцкого призывать штурмовать мэрию и «Останкино». Никто силой *не заставлял* Макашова кричать о начале «народной революции против контрреволюции» (очевидно, по Макашову, бывает еще и «народная революция в защиту контрреволюции!» – Марксы и Кропоткины у нас прямо под каждым кустом!).

Повторю еще раз: если бы после разблокирования Белого дома Руцкой и Макашов призвали всех к дисциплине, к организованным действиям, призвали «не поддаваться на провокации», оцепили мэрию (игнорируя выстрелы откуда) – и начали новый раунд переговоров с Ельциным – провокация бы провалилась.

Конечно, напрашивается возражение, что не Руцкой, так нашлись бы другие – те, кого уже окрестили «полевыми командирами». Это не очевидно. Может, и нашлись бы, а может – и нет. История не терпит сослагательного наклонения.

Другое дело, что те, кто готовил провокацию (а это были явно профессионалы – из «правоохранительных» органов, благо полицейская провокация – это традиция в России), наверняка учли и «субъективный фактор» – и, в частности, менталитет и интеллектуальный уровень таких вождей оппозиции, как Руцкой и Макашов. И объяснения, вроде того, к какому прибеж председатель Моссовета

Н. Гончар («Руцкой человек военный, действовал по принципу «Вижу цель – атакую» – «Аргументы и факты», 1993, № 41), оправданием быть не могут. Офицерские погоны все-таки должны чем-то отличаться от справки из ПНД. И если наша оппозиция хочет чему-то научиться, ей придется искать других вождей – с другим стилем мышления и другим уровнем умственного развития. А заодно оппозиционерам придется кое-что изменить и в своих мозгах тоже: в частности, перестать, наконец, думать, что если им в руки случайно попала дубина (а тем более – автомат) – это значит, что во всей России началась революция.

Три нетривиальных вывода-вопроса

Тривиальные выводы из всего вышеизложенного делать не буду. Они очевидны, и читатель их сделает сам.

Взамен предлагаю три нетривиальных вывода-вопроса. И каждый из них обращен к конкретной аудитории.

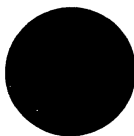
Первый вывод-вопрос. Обращен к оппозиции. И даже не к «красно-коричневой» оппозиции, задвинутой провокацией 3-4 октября на обочину политической жизни, а ко *всякой* оппозиции – в том числе и «конструктивной», в том числе и потенциальной. По каким правилам собирается она играть в политику с властями, прибегающими к методу провокации? Тем более так легко – когда никакой угрозы *основам строя* не было, *катастрофы* не ожидалось (Хасбулатов и Руцкой – не Альенде, не Народный фронт в Испании, они вовсе не собирались социализировать всю экономику). Кстати, людям присуще прибегать в своей деятельности к методам, которые себя ранее оправдали. Президенты и вице-премьеры не исключение. К следующим выборам ведь можно подготовить новую провокацию. А если не найдется таких благодатных объектов, как Руцкой с Макашовым – что ж, провокаторов можно и специально подготовить. Ради святого-то дела...

Второй вывод-вопрос. Обращен к «рядовым гражданам», не к профессионалам-политикам, не к тем, кто постоянно следит за политической жизнью, анализирует происходящее, имеет собственное аргументированное мнение по всем основным политическим вопросам, а к тем, кто про-

буждается к политической активности только во время кризисов, к тем, кто прибежал по призыву Хасбулатова и Рудского «защитить Белый дом и подставил себя под пули, к тем, кто по призыву Гайдара кинулся на Тверскую – и тоже мог оказаться под пулями. Может быть, раз вы не профессионалы, не можете уследить за всеми перипетиями событий, за всеми нюансами, есть смысл сначала подумать, а потом откликаться на «зов вождей»? Собственно, затем человеку и дан разум, чтобы он им пользовался. А быть «пушечным мясом» – невелика честь...

И последний вывод-вопрос. Гайдару и прочим, счастливым, что они, наконец, смогут без помех воплотить свои рейганистско-монетаристские мечты. Может быть, стоит посмотреть западное TV, почитать западную прессу – особенно те интервью, которые брались 3 октября у молодежи около Белого дома? Это ведь были не записные анпиловцы. Это были совсем другие люди. Ни на какие выборы и референдумы они не ходили и в митингах красно-коричневых не участвовали, за дебатами в Верховном Совете не следили. Они пришли к Белому дому, потому что ваши, гг. Гайдар и прочие, «реформы» отняли у них все – и, в первую очередь, надежду на будущее. Пришли, потому что увидели возможность расплатиться с вашим режимом *внепарламентским путем* – с оружием в руках. Это – та «оппозиция», о которой вы, гг. Гайдар и прочие, и понятия не имеете. Осознали ли вы, захотите ли вы осознать, что вы уже сформировали в России базу для *городской герильи*? А с нашими-то отечественными традициями партизанской войны...

20 октября – 13 ноября 1993 г.



Алексей ДИДУРОВ

СТРАНА ПЕРВОГО МАРТА

От интервьюера:

Владислава Листьева убили вечером 1-го марта в подъезде его дома. На следующий день я начал – и неделю с лишним продолжал – опрашивать своих знакомых по телефону, а потом и незнакомых – в городском транспорте, на улицах, в кафе (точнее – в забегаловках). Вопросы задавал об убийстве – кто бы мог, зачем, почему? С теми, кто так или иначе связан с телевидением, на эту тему не общался принципиально. В останкинской «очереди скорби» также никого из тех, кто пришел к гробу убитого, не утруждал беседой. Поскольку мои вопросы повторялись в каждом контакте, я из текста их решил убрать совсем, оставив только ответы. Из них – из-за стандартности – я изъясил сентенции о жестокости убийства и неопозволительности его как способа аргументации и средства достижения целей.

Ни один из моих собеседников не дал разрешения на упоминание его имени полностью – мне позволили привести при публикации ответов только инициалы, возраст и профессию.

Инна М., почтальон, 60 лет, 45 лет таскает по микрорайону на плече объемистую сумку с корреспонденцией, определяя этапы отечественной истории по весу своего груза – при Советской власти сумка была гораздо легче, тяжелеть начала при Горбачеве, неподъемной стала после путча ГКЧП, сейчас стремительно худеет.

«Что Листьев посеял, то и пожал... Вон Холодова за что почикали? Полез, куда не звали. Кому ничего особенного не надо – того у нас не трогают. Так здесь всегда было, есть и будет.»

Лариса Д., бывшая аспирантка МГУ, сегодня финдиректор рекламной фирмы, ради пропитания пошедшая в бизнес, отложив почти готовую диссертацию.

«Способ убийства и выбор его в качестве средства решения вопросов указывает на круги, способные его заказать. Мы, например, бизнесмены, в суды никогда не обращаемся – волокита и бесполезняк. Пистолет лаконичней и красноречивей отстаивает и защищает интересы. А в политике это и подавно – традиция. Местная. Шухер навела именинность. Второго числа мой шеф на работу прискакал с лицом цвета доллара от недосыпа и всех наших мужиков заставил раздобыть заверенные справки – кто, где и с кем был вечером первого марта. Один парень скатал на собственной машине к своей бабушке под Калугу за картошкой, а бабушка неграмотная, так шеф приказал этому парню приволоочь справку с поста ГАИ на границе областей – что там машину обыскивали и документы проверяли. А что делать, поехал, ментам взятку дал – и привез. Шеф справки – в папочку, и – в «Останкино», доложить, у нас с ними дела. Ведь Лисовскому-то, говорят, самодержцу «ЛИС'С», телевидение за ссору с Листьевым бойкот объявило, а это – крах его рекламной империи...»

Сергей К., 30 лет, бард, сочетающий в своем творчестве традиции русского поэтического символизма и западной музыкальной классики, прошел морально-этическую и социальную-бытовую школу местного доморожденного «хиппизма», увлекался испанской народной музыкой, джазом, роком, бардовским шестидесятничеством, выпустил в Бельгии свой компакт-диск, ныне звучащий в отечественном эфире.

«Может, Листьева в карты проиграли... Россия ж, страна такой, однако... А если серьезно... Я ведь государственный, за единую и неделимую всегда готов был пасть порвать, а если такое теперь возможно, стало быть, все неладно в нашем датском королевстве – если Листьев труп, значит, президент России полутруп... А потом, мы же –

совки! Русский народ всегда не был подарочным, Достоевский просто называл его подлым, а Совковия довела народные пороки до квинтэссенции, до сверхмощности – вот русские издревле ленивы и завистливы, а совки – в кубе! С Листьевым и получилось: слишком много на одного – красив, талантлив, богат, удачлив, работящ. Такого концентрата в Совковии не любят, здесь живут по принципу общепита: «Побольше разбавить, поменьше положить». Каждое в отдельности из основных положительных листьевских качеств ненавистно совку, а уж их совокупность – бесит, обладатель их обречен на уничтожение так или иначе.»

Елена Д., 50 лет, программистка, ветеран внедрения ЭВМ в России, была выгнана «по собственному желанию» со всех предыдущих мест работы за чрезмерную принципиальность и щепетильность в трудовом процессе и отношениях с коллективом и начальством.

«Это не Листьев дошел до своего убийства – это страна докатилась до своей смертельности. Вернее, он и она – рука об руку, если можно так сказать. Чем меня всегда Листьев поражал – так это своей гениально выверенной, а точнее, угаданной современной современностью. Слово он жил по двум пословицам: «Всяк сверчок знай свой шесток» и «каждому овощу свое время». Учился в самом кагебешном вузе – в МГИМО. При Горбачеве во «Взгляде» носил строгий темный свитер с ярким гербом СССР во всю грудь. Затем гарцевал на «Поле чудес» в шикарных модных пиджаках. Дальше демонстрировал фраки и смокинги на телепрезентациях, банкетах, кинофестивалях и прочих всяких тусовках бомонда, как только вчерашние комсомольско-либеральные молодые пройдохи с гербами СССР в душе и на ксивах стали нашим «высшим обществом» и «новыми русскими». Потом ухватился за боссовский кейс и по-боссовски декорировался в подтяжки во весь «деловой» экранный образ. Никогда не забегал вперед. Никогда не отставал. И не первым, и не последним убит. В длинной и уже ставшей привычной чередой себе подобных. Таких же, как он, детей времени. Очень флюгерообразный молодой человек. Был...

Кстати, он сам воспитал своих убийц. Вырастил их на своем же «Поле чудес». И уже там, на «Поле», начал с ними конфликтовать. Нет, не в лоб, не впрямую, конечно. Но

временами на экране их подкалывал, смотрел подчас на них даже как-то насмешливо, а то иногда и глумливо – на короткие доли секунды эта недобрая ирония, взгляд свысока проскальзывали сквозь дрессированность, сквозь профессиональную маску – словно проговаривался, ведь глаза – голос души... И не раз тогда в интервью по телевидению уверял, что старается уйти с «Поля», ищет себе замену. Да само название, которое он выбрал для своей первой авторской передачи, очень однозначно, ведь вся страна знала, что «Поле чудес» – первая часть строки песни из мюзикла про Буратино, а вторая часть строки не только запрашивалась, но и красноречиво говорила об отношении Листьева к аудитории передачи по всей стране и к ее публике в студии.

«Поле чудес в стране дураков»!.. Он во весь экран показывал народу, который веками сочинял сказки, где богатый – всегда подлец, новые положенные цели и эталоны жизни. И добился своего – настало время «счастливых обладателей». Дочь десятилетия моей сестры плешь проела ей: «Засунь меня через знакомых твоих в «Поле чудес» – оттуда призы и подарки тачками вывозят!» Девочка уроков не делает, школу прогуливает. Ее крестный отец – Листьев. Как и сегодняшних «новых русских», которые меняют иномарки чаще, чем их деды меняли кальсоны, а отцы – носки. Есть у Мандельштама строка: «И меня только равный убьет». Касательно самого себя поэт ошибся, но о законе жизни сказал гениально правильно. Просто Мандельштам был вне этого закона, который закон не для гения, а для всех остальных, а Листьев как раз был как все. «Как все люди».

Сестра живет в Останкино. Поехала я ее навестить. Как раз очередь стояла «на Листьева» – пускали к гробу, в главный корпус, в телетеатр. Прошла вдоль очереди, взгляделась в лица – публика «Поля чудес». Вдруг почему-то вспомнилось, что такие лица видела на анпиловских и зюгановских демонстрациях... И правда, дай в той очереди каждому по красному флажку – будет то самое. Один к одному. Скорбящие трудящиеся... Массовый контингент... Между прочим, эту социальную характеристику сразу почувствовала милиция. Нюх-то натаскан, чует – знакомым духом разит. И действовала милиция абсолютно адекватно

контингенту: вечером, когда поступила им команда доступ перекрыть, милиционеры отсекали очередь от телецентра и поставили заграждения – но не тут-то было, с магазинным навыком очередь сразу превратилась в толпу и, давя друг друга, сметая ограду и милицию, ринулась к вожделенной цели – как в ГУМ или ЦУМ в эпоху дефицита: «Бабы, тюль дают!» – и тогда милиция привычно и отработанно начала эту толпу избивать... Символично, не правда ли?..»

Соня К., 20 лет, студентка пединститута, будущий логопед, красавица фото модельных габаритов, влюбленная в русскую классическую литературу, в боготворимого родителями Окуджаву (выросла на его записях, засыпала под него все раннее детство в кроватке – родители «врубали» вместо колыбельной), одинока, ибо, по ее словам, «нынешние мальчишки не переносят Окуджаву и не терпят ответственности».

«Влада я обожала... Для меня он – положительный герой нашего времени: он умел сделать другим праздник... Был... солидный. Но и остроумный. Его уважали собеседники – всегда известные люди... Красиво одевался. Красиво работал. Красиво жил. Кто и за что убил – не представляю. Ведь он был добрый, это видно было по нему... У нас все девочки на курсе в шоке... Кошмар какой-то...»

Ирина К., 48 лет, мать Сони, детский врач, дочь военного врача, ветерана войны, по ее собственным словам – «совковая хорошистка, разочарованная и во вчерашнем, и в сегодняшнем дне России».

«Я тепло относилась к Владиславу Листьеву – чувствовался в нем крепкий профессионал. В политику он особо не лез, никому на экране на хвост не наступал, но, тем не менее, думаю, что убийство Влада – политическое. Кому-то надо запугать общество. Может быть, фашистам...»

Юрий К., 48 лет, отец Сони, муж Ирины, в школе с первого класса сидел с будущей женой на одной парте, физик-атомщик, как сам отрекомендовался: «просидевший на насесте в «курчатнике» с физмата МГУ до седой бороды», и уже седым выпущенный за границу на научные форумы и допущенный к защите диссертации по причине принци-

ального невступления в КПСС в годы молодье, «с каковых и пьющий человек».

«Когда узнал об убийстве Листьева, вспомнил строку из революционной песни, любимой Владимиром нашим Ильичем: «Как ты, мы, быть может, послужим Лишь почвой для новых людей...» Листьев очень торопился вдвинуть Россию – фантастически громадную, между прочим, страну – в светлое капиталистическое будущее, поэтому и тащил на экран российский все, что плохо лежало на Западе – игры с богатыми призами, ток-шоу Фила Донахью, назвав это своей авторской «Темой», подтяжки и тет-а-тет Лэрри Кинга... Но громадности, а, значит, и неповоротливости, нерасторопности, да и просто лени и консерватизма России он впопыхах-то как раз и не учел. И поплатился. Да и вообще рано веселиться начал, рано стал праздновать новую эру. На Руси веселых недолюбливают, довольные местных злят. Россия, генетически христианствующая (по-своему, в веру не углубляясь – лень), клеточной, подкорковой памятью помнит, что говорится в святых книгах: «Горе вам, богатые!», «Горе вам, пресыщенные ныне!», «Горе вам, смеющиеся, ибо восплачете и возрыдаете!» Вот и возрыдали.

Вообще, можно с другого конца разобраться в ситуации – методом от обратного. Если стали выгодны убийства, стала доходной смерть – так какой же у нас рынок? Какой же капитализм? Тот и другой живут и наживаются с жизни человека. Ибо создают огромную прибыль живые работающие. Со смерти живет только феодализм – со смерти ограбленного, покоренного, загнанного в рабском каторжном труде донельзя. При переходе феодализма в капитализм первый отдает последнему общество не сразу – сразу только водку выпивают, да и то русские только, – а по частям, по чуть-чуть, через кастовые и классовые объединения – цехами, корпорациями, синдикатами, но при этом отдающий сам контролирует скорость перехода, не желая, естественно, скорейшего. В каком цехе заторопились – в том применяет феодальный тормоз: «Осади! Окороти! Стой – стрелять буду! Шаг влево, шаг вправо – расстрел!» И стреляет, ежели что.

Листьев-то своего лидерства и пионерства как бы не скрывал, наоборот – авторство своих усилий подчеркивал. Но чтобы персонифицировать успех и богатство (а я где-то

вычитал, что Листьев входил в первую десятку богатейших людей России) и при этом остаться в живых, надо либо построить пирамиду тоталитаризма и встать на самую ее макушку, чем и обеспечить себе – и только себе – личную безопасность, либо построить правовое общество с безусловным признанием основной ценностью каждой человеческой жизни – да чтобы за жизнь и президента страны, и бомжа одинаково в нужный момент вступалась вся мощь государства, что требует десятилетий тяжелого и умного труда. Листьев же попытался уцелеть на халяву, между двух стульев сесть. Не вышло.»

Владимир Е., 40 лет, мастер спорта международного класса по дзю-до, заслуженный тренер России, воспитатель нескольких юных и взрослых чемпионов, выдавленный из нескольких спортивных обществ и ныне уезжающий в одну из латиноамериканских стран тренировать национальную сборную по контракту.

«Есть надпись в России на окнах в общественном транспорте: «Не высовываться». Первые номера здесь обречены.»

Алексей Б., 60 лет, известный музыковед, устроитель и член жюри крупных международных и общенациональных джазовых фестивалей, автор капитальных трудов по истории и проблемам джаза, награжден орденом одного из европейских государств за выдающийся вклад в мировую культуру.

«Как есть на планете Страна Восходящего Солнца, как есть Страна Тысячи Пагод, Страна Вечнозеленого Кедра и Страна Тысячи Озер, так есть Страна Первого Марта – это мы, это Россия. Между первым числом марта в прошлом веке – убийством Царя Освободителя, – и тем же числом того же месяца в нынешнем я вижу прямую связь. Кто мог убить Влада? Круг способных и готовых шире, чем можно предположить. Вплоть до тех, кто подходил к нам в школе и отрывал пуговицу за то, что она застегнута... Дело в том, что в России государство образовалось намного раньше, чем народ. У нас нет до сих пор общества. Я относился к Владу с восхищением – он мог все: и на капитанском мостике стоять, и штурвал держать, и курс прокладывать, и палубу драить. Он знал и искусство, и технику жизни.

Много веков здесь идет гражданская война, причем одни давно простили врагов и примирились с ними, а другие, те, что напротив – убивают. Черeda убийств длится века. Это единый дневник военных действий. Конца им не видно.»

Андрей А., 23 года, сварщик, автослесарь, шофер – работает на трех работах (нужны деньги, хочет построить собственный дом и жениться), в недавнем прошлом – солдат на ядерном заполярном полигоне, чудом оставшийся в живых, когда, отправляясь на дембель из казармы, по пути к автобусу до аэродрома отпустил из рук по пьяни канат, специально натянутый от крыльца до стоянки, и был унесен бураном за полкилометра в пятидесятиградусный мороз – еле отыскивали и открыли.

«Листьев все иметь захотел и над всеми встать, вот и убили. У нас порознь-то не любят и богачей, и начальников, будь богач Третьяковым, а бугром – сам Христос. А Листьев подсуетился стать и тем, и этим. Ну, и сплюсовалось, как в ядерной взрывчатке: масса плюс масса – получаем сверхмассу, и – шар-р-рах! И – полный покой. Это мы на полигоне на занятиях проходили.

Вообще, нашему народу понравиться нельзя, если над ним взобрался, сколько ему добра ни делай. Лучше даже гадить на него сверху – будет бояться, а значит, уважать. Но не любить. Нам все были плохи – цари были плохи, Ленин – плох, Сталин – плох, Хрущев – плох, и далее по списку... И Ельцин плох. Одни мы хорошие – все, кто под ними. Мы лучше всех народов мира, если нас послушать, особенно под селедочку и огурчик.»

Ксения О., 45 лет, журналистка, обозреватель одной из центральных газет, живет в брошенной крестьянами деревне на берегу Волги, где большинство домов куплены и заселены, по ее выражению, «интеллигентами от художников-наркоманов до алкоголиков-кагебистов».

«Да тут все – беда! Кто за что ни возьмись – все беда. Россия – одна сплошная беда, только фазы ее чередуются с периодическим возвратом в исходное положение – ступни в стороны, руки по швам. Все, что ни предпринимает в помощь себе эта страна, становится бедой. Княжества, абсолютизм, капитализм, социализм, снова капитализм – полный «атас!» и «караул!» И нет счастливых ни наверху,

ни внизу – это еще Пушкин воплотил во всем своем творчестве, как закон империи российской. Все избывают одну беду. Царь – беда для всех и для себя, то же самое – Ленин, так же точно – Сталин, Хрущев и прочая, и прочая, от смерда до генсека – всем одна лесосека. Сейчас тоже стенка на стенку в одной зоне: народ на буржуев плюет, «красного петуха» напускает, отстреливает их, а ихние иномарки плотным строем своих задних приперли пешеходов, как проституток, к грязным стенам домов, к обоссанным бездомными собаками панелям под падающие сосульки, под холодную капель, под опадающую штукатурку фасадов. По ночам во всем городе стоит плотный визгливый вой сигнальных устройств бесчисленных личных «тачек», доводит до неистовства не могущие заснуть из-за них безлошадные массы. На перекрестках и переходах через улицы светофоры больше не играют роли – нувориши и парвеню взяли за моду нестись на красный свет, калечат пешеходов и осыпают «капустой» взяток гаишников.

Я уж не говорю о бешенстве простого люда по поводу спекуляции фальшивой водкой, испорченными продуктами, тряпьем и продовольствием из «гуманитарной помощи». Воленс-ноленс, а Листьев стал сознательно «соловьем третьего сословия», а при этом, взяв власть на «телеке» в свои руки, разогнал редакцию литературно-драматических программ, уволил чертову кучу «культуртрегеров» – я недавно в их компании пила, так они на голову Листьева – он еще жив был, – кирпичи с крыш призывали! Шутили по его адресу: «От испарта дошел до Бонапарта». Предсказывали: душишь культуру ради любезной тебе развлекухи – а это он делал программно, как они говорят, – гляди, бумеранг вернется! И вернулся – в голову...»

Антон О., 20 лет, сын Ксении О., студент МГУ, будущий почвовед, ныне «свободный извозчик», как себя называет, поскольку бесплатно подкидывает, куда надо, пенсионеров и матерей с детьми из-за дороговизны и почти полного исчезновения в Москве такси, для чего из случайных запчастей и остатков разбитых машин собрал что-то вроде «Жигулей».

«Я думаю, Листьева убили люди, не получившие культуры и не жившие в цивилизации. Вернее, сознательно отошедшие от одного и поэтому не дошедшие до другого. Это

им сегодня вроде как помогает, но именно это их и убивает. Осознать же такую причинно-следственную увязку им не хватает разума в состоянии сиюминутной победной эйфории.»

Лев И., 80 лет, ветеран войны, с июня 1941 года по май 1945 воевал в штрафбате, будучи разжалован из политруков в рядовые и зачислен в штрафники за дезертирство подопечных повара и писаря, после войны отказался вернуться в коммунистическую партию, за что не был восстановлен в ВУЗе, откуда добровольцем ушел на фронт – ныне пенсионер, алкоголик, сосед интервьюера по коммуналке.

«Листьев?.. Да я телевизор давно... Ну, слышал, слышал. Как – кто? «Кто»... Ясно, кто... С кем наваривал, тот и съел... Видать, слишком много знал, слишком много взял... На одно рыло у корыта меньше – другим каждому больше пошла достанется. Вот так.»

Отец Д., 50 лет, священник, занимающий сегодня ответственный пост в русской церковной иерархии, в недавнем прошлом имел приход в столице одной из бывших южных республик СССР, где прославился личным выходом навстречу карательным войскам СА, брошенным Москвой на подавление выступлений сепаратистов, с призывом не стрелять в народ, после чего – депутат Верховного Совета этой республики, связанный политическими интересами со всеми кругами общества от самого верха до самого низа.

«Еще одни бандиты убрали еще одного бандита. Листьев типичный долевик. Что такое «долевик»? Положенную при дележе долю кому-то не отдал, пожадничал. Такого не прощают.»

Дмитрий Г., 33 года, бывший инженер молокозавода, комсомолец-активист и рационализатор, выжитый за «длинный нос и излишнюю прыткость» с производства, ныне коммерсант, брокер, пионер и ветеран кооперативного движения в торговле, один из первых московских «ларечников», чей торговый ряд был сожжен конкурентами, а сам владелец был бит рэкетирами, угощен милицией газом «черемуха» за отказ бесплатно давать с прилавка водку, после чего пострадавший обзавелся переводами основного корпу-

са сочинений Гитлера, Геббельса и теоретиков русского фашизма.

«Причины? Да, скорее всего, деньги взял с рекламода-телей вперед, а потом эфир им сократил. Заурядный слу-чай. Культурки, культурки не хватает! Культуры собствен-ности. Выбили из нас эту культуру за семь десятков лет с лишком. А состоит она, культура-то собственности, в том, что если хочешь иметь – делись! С тем, кто имеет меньше тебя. Если не хочешь потерять все. А мы нищетой совет-ской приучены за кусок свой держаться до последнего – на этом и горим. Щедрости нема, широты, легкости... В том и вина, и беда наша, и погибель... А еще грубы, недально-видны, узколобы. Вот молились после большевиков на ка-питал – он, мол, сила, он жизнь нам переменит... Он-то сила, его, как тигра из клетки, выпустили, а обращаться с ним норовим, как с домашним котиком, чтоб из маленького блюдечка жиденькое молочко пил, а если зашалил – так мы ему «ата-та» по жопе тапочком! а он тапочек вместе с рукой – ам! Сила меры не ведает! Еще, глядишь, и с башкой проглотит.

Поскольку капитал – зверь, хищник. По природе своей, сто лет назад разъясненной Марксом еще. С тигром, господа-товарищи листьевы, будьте добры, соблаговолите – по-любезнее. Как говаривал Жванецкий застойного периода: «Тщательнее надо, ребята, тщательнее!»

А по-настоящему-то, вся эта наша третья русская революция – натуральные общемировые происки против Рос-сии! Суперстратеги тамошние, яйцеголовые советологи на Западе догадались: чтоб со стороны дикарей не ждать угро-зы, надо им в селение подбросить мешок с бижутерией. Через сто только лет кровавых разборок кому-то первому из них придет в голову, что есть что-то подороже блестя-щих побрякушек, а через тысячу умнейший из них то же самое поймет и о золоте. Но на эту тысячу лет покой вокруг селения дикарей белым людям обеспечен. А им кроме по-кой ничего не надо, остального у них всего в избытке!

Я слышал, что покойник, когда царевал-заправлял в Ос-танкине, добивался, чтобы побольше было программ, даю-щих народу возможность побалдеть, оттянуться, рассла-биться – чтобы попсы, веселых песен навалом, музона дис-котечного, чтоб попрыгать, поскакать, потрястись в лег-

кую ритмично. Так ведь это один в один – указание Гитлера о заполнении эфира на оккупированных славянских территориях! Только чтобы тот приказ не был исполнен, четыре года наш народ реками кровь свою и чужую проливал...»

Виктор И., 53 года, кандидат наук, преподаватель технического вуза, заведует кафедрой, вступил в КПСС в 20 лет и до 1990 года возглавлял сначала комсомольскую, а потом партийную организацию своего ВУЗа, совмещая прямые обязанности с бесплатной починкой бытовой электроники пенсионерам и многодетным семьям в микрорайоне, где живет и где сегодня возглавляет коммунистическую партиячейку.

«Листьева убрали его демократические дружки во главе с их главным паханом на телевидении Яковлевым. Они все постепенно загрызут друг друга при дележе и распродаже страны, они все обречены. Подлость не остается безнаказанной – за растление страны на своем «Поле чудес в стране дураков» растленные прикончили растлителя, дураки съели дурака. А потом от страха, что их ждет вот-вот такой же конец, подняли вой на всю страну в эфире и в печати, вгрохав в это миллиарды. Будто весь этот истошный гвалт и наворованные сверхкапиталы спасут их и ихний режим. Ничего не поможет, скоро власти воров и растлителей конец, скоро подыметесь ограбленный народ, по своей природе и исторической наследственности словно созданный для социализма и коммунизма. Кто из листьевых к тому сроку в своих разборках уцелеет – тот сбежит к своим нанимателям на Запад. Здесь они не останутся, не приживутся – страна не та, народ им чужой. Его путь predetermined, отклонения временны, поворот вспять невозможен.»

Владимир Т., 34 года, бывший следователь московской городской прокуратуры, ушедший из нее из-за нищенской зарплаты, полгода уже как юрисконсульт процветающей фирмы, что позволило ему наконец завести семью (молодая жена уже беременна, фирма предоставила им двухкомнатную квартиру в рассрочку).

«Плач по всем каналам и полосам? Шум? Вор кричит: «Держите вора!» Но вообще-то убить мог любой – оружие достать не проблема, услуга падает в цене, а народ, способный убивать, богатеет, вот и становятся заказные убийства все более простыми, доступными и популярными.

Каждые 72 часа в стране кончают одного бизнесмена. Стреляют власть и деньги: кейсы, например, с документами и миллионами в рублях и тысячами в валюте на карманные каждодневные расходы, что были у убитого... Для «новых русских» Листьев стал их символом, а для аудиторией «Поля чудес» – кумиром. Листьев сам вырос на своем «Поле чудес» силу, сегодня не терпящую отказов и преград, убивающую всякого, кто стоит ей поперек.

В России любой правящий класс всегда становился одновременно убийцей и самоубийцей, живым трупом. Убийства менеджеров и боссов поэтому закономерны исторически, как парниковый эффект и озоновые дыры.

Киселев же в «Итогах» в связи с гибелью Листьева припомнил аж Александра II Освободителя, принца Фердинанда и Кирова – судьбоносные для России и мира убийства... Подтекст: Листьев – Пушкин сегодня. Текст: телевидение отвоевало человечество у литературы, кино, театра... Мрачный дорогостоящий праздник на ТВ вокруг убийства и гроба – для боссов и грандов ТВ способ заявить о себе как о власти в России, истерика по поводу положения интеллигента в государства: положения холуя, егеря на цековской охоте. Хоровой вопей в средствах массовой информации по поводу убийства Листьева – крик маршалов в 37-ом, которых волокут на расстрел. Крик о своей роли в победе над врагами нынешней власти, о заслугах перед ней. Один литератор вчера в эфир сказал: «Нужна железная рука!» Это – вчерашний демократ. Им нужен сегодня свой Наполеон.

Сумасшедшему не дадут руководить ракетной базой, неучу не позволят сесть за руль. Неуч и параноик управлял Советским Союзом с 1924 по 1953 год, нездоровые и малокультурные люди и сегодня делают погоду на завтра в России. У нас нет истории, мы неподвижны...»

Михаил С., 30 лет, люмпен, безработный, экс-лимитчик, бывший милиционер, выгнанный из органов правопорядка за пьянку и садизм, сосед интервьюера по коммуналке, пытавшийся год назад зарубить интервьюера топором и отсидевший за это полгода в Бутырке.

«Ясное дело, кто убил – власть! Сверху наезжают на деловых – они, мол, убийцы. Не, это понты. У деловых своих забот полон рот и без Листьева – как выжить между

давиловкой государства и прижимом со стороны мафии. Власть.»

Максим К., 21 год, служащий торговой фирмы, успешно занимающийся сбытом бытовой иностранной радиотехники, несколько месяцев назад был изуродован выстрелом в лицо из газового дробового пистолета при выходе из офиса.

«У меня есть подозрение, что кому-то очень было надо поднимать ор на весь мир из-за убийства Листьева. Кто-то за всем этим спектаклем убийства и похорон что-то прятал, от чего-то этим отвлекал людей... Я почему могу об этом догадываться – второго марта все владельцы проданных нами телевизоров стали звонить мне в офис: почему, мол, продали нам брак? Как так – брак! Исправные аппараты продавали, мы же их тут проверяем. Говорю: аппараты исправны. А они: а почему, мол, с утра до вечера один портрет Листьева на экране, и ни движения, ни звука? Значит, отвечаю, в Чечне, мол, дела пошли плохо! Или еще чего обломилось. И хоть бы один из звонящих скорбел по убитому – никто, только раздражение: будет показывать аппарат, как надо, или нет...

Я так скажу: Листьев карьеру сделал потому, что всем был мил – ничего нового не придумывал, служил и Ельцину, и буржуйам, исправно вкалывал, звезд с неба не хватал. Не реактор, не генератор, а трансформатор. Самый подходящий тип на должность «пана директора». Потому, что это «общественное телевидение» – липа, очередная лапша на уши народу. Никакое не общественное – плевали капиталисты и правительство, настоящие хозяева Останкино, на общество!»

Сергей К., 36 лет, талантливый ученый-химик и известный шансонье, недавно вернувшийся из долгой командировки в США, где зарабатывал игрой в студенческом джазе на гитаре, продажей своих песен за наличные и исправлением ошибок в профессорских научных публикациях «за харчи».

«Листьев быстро думал, диалоги ему удавались, но скорость его вопросов и ответов выдавали поверхностность. Заметно было, что все больше ему нравилось быть среди людей сверху, быть главнее, а как итог – все меньше выглядел журналистом, собеседником, все больше – начальни-

ком. Поэтому я смотрел его передачи все реже... Но роль его запомнится, след Листьева останется в истории, мне кажется. Владислав Листьев сделал то, чего не смог никто до него – сблизил власть и народ на ниве порока и соблазна. Всегда для него дорогой вещизм был прерогативой и отличительной характеристикой власти – народ-то ведь был нищ. Влад с помощью телевидения приблизил народ к горам вещей, причем сократил путь до них до минут угадывания букв и слов, тогда как в реальной жизни до тех же вещей месяцы, а то и годы труда нормального человека. Вот так Влад воспитал своих и чужих убийц – людей, знающих, что от них до куша – секунда нажатия на курок. Этим Влад вернул людей в большевизм, в 1917 год и в ужасы гражданской – тогда Ленин обещал такой же краткий путь к благам.

Он, Листьев, не захотел довольствоваться ролью катализатора – он сам стал активнейшим участником, проводником западного культа успеха – минус западный культ труда, работы, преодоления.

Благодаря именно Листьеву миллионы людей в России игнорируют в своем сознании долгий процесс трудового честного достижения Монблана благ – миллионы сеют на «Поле чудес», в которое превратилась вся Россия, семена криминальных чудо-деревьев, на чьих ветках за одну сказочно краткую ночь должны появиться гроздь золотых монет – и в результате этого всеобщего помешательства на сверхбыстром квазиуспехе страна погрузилась в многолетнюю ночь криминального беспредела, он один лишь может соперничать с властью (если с ней не сотрудничает, что все реже случается) в достижении всего-всего-всего-всего...

Впрочем, Листьев был равно любим и верхами, и дном, а, значит, по формуле русской любви, выведенной Достоевским, Листьев и презираем был верхами и низами одинаково. И пользу из его гибели те и другие извлекут неукоснительно, всенепременно и не малую: кровь – органика, а органика – лучшее удобрение под скорый урожай... Я посмотрел трансляцию прощания у гроба: все слетелись и рядышком стояли – и правые, и левые, с «над», из-под... Идиллия до следующего труп... Когда-то Витя Цой сказал Листьеву во «Взгляде»: «Государство – это и есть основная мафия.» Сегодня можно и так, и наоборот: мафия – это и есть, в основном, государство.»

Владимир Г., 48 лет, кинорежиссер, киноактер, ныне безработный, создающий новую политическую партию трудящихся синдикалистско-трэджьюнионистского толка.

«Тяжкий крест России – в ней все литература, все киногенично! Никогда мы не жили безмятежной, бессобытийной жизнью Запада, на которую там уходили десятилетия, и из-за которой им пришлось себе выдумывать абсурдизм и фильмы ужасов. Сюда западники стремятся толпами – увидеть живую, голографически абсурдизм и ужасы, чтобы оттянуться, встряхнуться. И не перестают забугорники здесь восклицать, что более духовной, более помешанной на искусстве – на прозе, поэзии, театре, кино, – страны, чем Россия, на свете нет! Да! Мышление русского человека романтично, эстетизированно, его видение мира сюжетно – но все это сжидется на страшной язве нашей нации, на анархизме русского народа: анархия – мать романтики, порождающей тягу к искусству!

Вот эту-то нашу приученность к броской форме, к яркой подаче, карнавальности, киногеничности быта и бытия и используют террористы и устроители кровопусканий всех мастей и всех русских времен – и нашего тоже. Легко заметить в нашей отечественной истории: все крупные убийства театрализованы: Александр Второй, Николай Второй, Троцкий, Киров (а до них протопоп Аввакум, Павел), режиссерски поставлены покушение на Березовского и убийство Листьева, произошедшее, кстати, в самое лакомое для телевизионщиков и рекламодателей время – в 21 час. Заказчики всегда выдают себя возможностями и стилем, наиболее излюбленным. Кому важно сегодня пыль в глаза пускать, приманивать к себе и одновременно гипнотизировать массы магией зрелища? Кто живет напоказ и дела превращает в показуху? Правительство парвеню и вчера вылупившиеся нувориши. В зрелище превращена трагедия Чечни, зрелищны презентационные пиры «новых русских» и их же кровавые разборки. Эти сообщники – власть и мафия – знают цену самому острому зрелищу: кровавой смерти, и за ценой не стоят.

Убийства порождают хаос, а выгоден он и верхам, ибо дает им право на диктатуру, и криминальным кругам, ловящим большую рыбу в очень мутной воде. Тем и этим мерт-

вый Листьев стал сегодня более полезен, чем Листьев живой. «Мавр сделал свое дело – мавр может уходить» в бес-смертие. Листьев сразу подписал себе смертный приговор, как только в щенячьем азарте и угаре деловизма согласился на роль символа. Используя его ослепляющее тщеславие и пьянящее властолюбие, его окружение, возведя его в символ «новых русских», сделало его самой видной и престижной мишенью. Чтобы свалить его кровь на «старых русских» и утопить их окончательно в этой крови, чтобы между своим междусобойчиком и конкурентами положить святые мощи убиенного. И чтобы подарить народу еще одно желанное зрелище – эстетизировав его, опутав сюжетами один романтичнее другого.

Они знают свой народ – народ-балдежник, сегодня более, чем когда-либо, играющий в телевизионную листьевскую рулетку, спивающийся, нюхающий дурь и колющийся – занятый исключительно добыванием кайфа. Поэтому мало и плохо работающий. Но новым хозяевам жизни это уже не страшно – крышу над ними возводит уже не Пал Палыч, а какой-нибудь Али, сантехнику подводит не Сан Саныч, а Арво какой-нибудь Вихолайнен, а огурчики с пюре на стол обеспечивает не Марь Иванна, а анкль Бенц. И им хватает, они этим протянут, а после них хоть трава не расти. И ведь не вырастет!»

Елена Ф., 30 лет, кандидат экономических наук, безработная.

«Нормальной экономики у нас нет потому, что она не нужна. Она не нужна строителям финансовых пирамид, ибо им нужны дураки с «Поля чудес», халявщики, надеющиеся на неутомительное обогащение, наркоманы вклада, овцы для стрижки. Истинный отец «МММ» – Листьев. Он поставил безумцев для безумной обдираловки, называющейся у нас почему-то экономикой.

Радение в эфире спекулятивно: «Мы, оставшиеся в живых, клянемся!» «Всех не перестреляешь!..» Приравнивают Листьева к Холодову – а у них нет ничего общего! Да пока Листьев был журналистом, ему ничего не угрожало, не того полета он был птицей, прирученной, домашней – в каждом обывательском доме появлялся аккуратно к ужину, к дымящимся тарелкам и к стопарю для главы семьи.

Рекламируя американизированный фасад криминальной нашей экономики, Листьев не просвещал наше население, а делал его еще более диким. Ведь ни одного отечественного товара в призах «Поля чудес» я не заметила – сплошная латиница и нерусские названия. Подтекст: все главное и качественное делают за бугром – наше дело присваивать и пользоваться, и это может каждый – чудом. Совершенно дикарская установка! Но дикарь все превращает прежде всего в оружие. В том числе и коммерцию, и демократию. А оружие убивает. И какая мне разница, чем мне дикарь проломит голову – дубиной, скипетром или компьютером? Могильным червям анамнез не интересен.

К слову сказать, в порядочных интеллигентных семьях на Западе – а я практиковалась два года в Европе, – вообще считается неприличным иметь в доме телевизор. Там уже поняли, что этот аппарат сеет из раструба кинескопа жлобизм.»

Александр Т., 32 года, эстрадный певец, музыкант и композитор, ведущий музыкальной программы на частной радиостанции.

«Я знал Листьева – типичный по натуре, по повадкам инструктор райкома комсомола времен застоя. Только переодетый по нынешней моде. Могу только догадываться, кому из своей тусовки он отдавал мозоль в давке у денежного мешка, но его братьям-соперникам, врагам-товарищам оказалось мало его убить, они безграничным славословием в его честь решили его трагедию опознать, его самого «опустить», залапать, затискать, выпустить из каждой души и жар и пар до последней капельки, чтобы довести до оглушения, до оупения, в конечном счете – до равнодушия к факту убийства.

Больше того: по Москве стали ходить участковые по квартирам и спрашивать всех и каждого: «Что делали первого марта?» Хотят испугать, встревожить, настроить против первоисточника страха, озлобить на Влада... Участковый – человек служивый, сам по себе не ходит.»



Олег ДАВЫДОВ

ГОЛГОФА ЗМЕЯ (Кошуна первая)

В начале 1994 года исполнилось 200 лет с тех пор, как на площади близ Александро-Невской лавры в Петербурге был публично сожжен текст трагедии Якова Княжнина «Вадим Новгородский». За смутой, поднятой в стране нашим победной головушкой президентом, этот знаменательный юбилей не был отмечен, а жаль. В контексте того, что сегодня творится, весьма актуально выглядит и сам сюжет пьесы, и то, что с ней случилось, и то, что случилось с ее автором (умершим, по версии Пушкина, «под розгами» в Тайной канцелярии). Предлагаю все-таки отметить этот безрадостный юбилей, разбираясь в том, что именно содержится в трагедии Княжнина.

Рурик и Вадим

Новгородский посадник Вадим был три года в далеком походе. В его отсутствие подвластный лишь «законам и богам» новгородский народ совершенно сбесился. Вот как описывает это вернушемуся из похода Вадиму один из его сподвижников: «Едва пред войском ты расстался с сей страной, // Вельможи многие, к злодейству видя средство, // И только сильные отечеству на бедство, // Гордыню, зависть, злость, мятеж ввели во град. // Жилище тишины преобразилось в ад. // Святая истина отсюда удалилась. // Свобода, встрепетав, к паденью преклонилась. // Меджуусобие со

дерзостным челом // На трупах сограждан воздвигло смерти дом. // Стремясь весь народ быть пищей алчных вранов, // Сражался в бешенстве за выборы тиранов. // Весь Волхов кровию дымящейся кипел.»

Чтобы спастись от бедствий усобицы, новгородцы пригласили Рурика (так у Княжнина называется Рюрик), который навел им отчетливый порядок. Боясь, как бы с уходом Рурика не начались с новой силой разборки между разными кланами новгородской элиты, народ и упросил варяга («с стенаньем, с током слез») «принять венец и трон». Правда, таким образом была утрачена свобода, но – «что свобода вся пред «руриковой властью?» – риторически спрашивает Рамида, дочь Вадима, влюбленная в героического Рурика, и продолжает: «Возможно ль Рурика кому возненавидеть? // Чтоб обожать, его лишь надобно увидеть. // Своею вольностью лишенный всех отрад, не то ли чувствовал, что я, и весь наш град, // Как Рюрик к нам привел торжественное войско». То есть, по мнению Рамиды, народ испытывает по отношению к Рюрику такое же эротическое влечение женственного характера, как и она сама. Запомним это!

Впрочем, все это было лишь предысторией, в которой зреют зерна трагедии. А сама трагедия начинается с возвращением Вадима, которому ненавистна сама идея самодержавия и который возмущен тем, что свобода утрачена, а его дочь и народ любят Рурика: «Ты страстию пылаешь к носящу здесь венец, – а ты вины не знаешь!» И конечно, Вадим составляет заговор, восстает против Рурика, терпит поражение, попадает в плен и кончает с собой со словами, обращенными к Рюрику: «Что ты против того, кто смеет умереть?»

Такова общая канва пьесы Княжнина, детали которой нам еще предстоит разобрать. Канва эта основывается на сообщениях летописей – Повести временных лет, которая не знает никакого Вадима, и довольно поздней Никоновой летописи, в которой говорится: «Того же лета уби Рюрик Вадима Храброго и иных многих изби Новгородцев советников его». Это все, что известно о Вадиме, но и это сообщение историки подвергают сомнению. «Хотя новейшие летописцы говорят, что славяне скоро вознегодовали на рабство, – комментирует Карамзин, – и какой-то Вадим, именуемый храбрым, пал от руки сильного Рюрика вместе

со многими из своих единомышленников в Новгороде ..., однако же сие известие, не будучи основано на древних сказаниях Нестора, кажется одною догадкой и вымыслом». Сергей Соловьев тоже не верит в историческое существование Вадима и объясняет предание о нем исторически зафиксированным фактом убийства новгородцами варягов, нанятых Ярославом (христианское имя – Георгий), и мести последнего убийцам. Имя Вадим историк производит от слова «водим», то есть – водитель, вожатый, вожак. На самом деле, конечно, – от «вадить» («обманывать»).

Порядок и хаос

Впрочем, меня здесь не очень интересует вопрос: были ли в действительности Вадим или его вообще не было? И соответственно – восстал ли он в 863 году против сильного Рюрика? Достаточно и того, что он существует в качестве персонажа трагедии Княжнина, а также – «Исторического представления из жизни Рюрика» Екатерины II (императрица написала свой текст раньше Княжнина), и еще – произведений Рылеева, Пушкина, Лермонтова и многих других русских писателей (причем, мы увидим, далеко не всегда Вадим в них назван по имени). Точно также и Рюрик: возможно, он и существовал вместе со своими братьями, но и он сам, и его варяги, и знаменитая фраза «призвания» из Повести временных лет («Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет: идите княжить и владеть нами») – располагаются в особенной сфере, – сфере не реальной, но идеальной, мифической истории, которая для нас, людей, бывает подчас гораздо актуальней и важней, чем данные так называемой истории научной.

Идеальную сферу эту всегда выделяли добросовестные люди – хотя бы только для того, чтобы над ней посмеяться. Например вот Ключевский об интересующем нас здесь сюжете призвания варягов писал так: «Автор и редактор Повести временных лет не могли довольствоваться уцелевшими в предании малоназидательными подробностями того, что случилось некогда в Новгороде: как мыслящие бытописатели, они хотели осмыслить факт его следствиями, случай осветить идеей». Разумеется, будучи ревностным

позитивистом, Ключевский относился свысока к подобно-го рода мифологическим «осмыслениям», а сюжетообразующим стержнем сказания о призвании варягов считал «стереотипную формулу идеи правомерной власти, возникающей из договора, – теории очень старой, но постоянно обновляющейся по ее доступности мышлению, делающему первые опыты усвоения политических понятий». В результате, по его мнению, мы находим в летописи «схематическую притчу о происхождении государства, приспособленную к пониманию детей школьного возраста».

Оставим на совести великого историка его язвительность в отношении «понимания детей школьного возраста». В конце концов, здесь слышится только гордость тем, что сам-то он обращает свои великолепные мифы к детям студенческого возраста. Но все равно ведь – к детям. Именно дитя в человеке (любого возраста – Карамзин, например, был в восторге от того, что Ключевский назвал «схематической притчей»), является создателем и потребителем исторических и литературных баек (даже самых позитивистских по форме). Эту наивную сферу в душе человека когда-то открыли немецкие романтики, они же углядели в ней субъекта творчества народного, индивидуального и назвали этого субъекта Народ-дитя. Представление об этой мечтательной сфере и о бессознательном.

субъекте ее (начале всякого творчества и понимания) тоже, конечно же, миф, но – весьма продуктивный и к тому же очень настырный. С тех пор, как он был сформулирован, он проник во все поры культуры и появляется теперь в наших речах совершенно даже независимо от нашего желания, как в случае Ключевского, творчески соединившего в одной фразе представления о бесплодии схем и творческой фантазии детства.

Кстати, это соединение понятий сухого схематизма и творческой мощи возвращает нас к самой сути конфликта Вадима и Рурика. И к тому же это расхожее противопоставление схематической упорядочности и творческой витальности почти буквально воспроизводит структуру формулы: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет: идите княжить и владеть нами». То есть тут явный призыв наложить упорядочившуюся схему на творческую мощь Земли. Причем дело, похоже, не только в юридической идее (как

считает Ключевский), но – в чем-то значительно более фундаментальном и глубоком (одним из проявлений чего может быть и право).

Присмотримся к формуле. Ясно, что Земля в ней отнюдь не является только географическим понятием (каковой она, кстати, и сегодня не является, если судить по газетам). Нет, Земля – это наша кормилица, наша общая мать (Родина), великая Мать-Сыра-Земля, изобильная богиня, сохраняющая свой алтарь в нашей душе с древнейших времен матриархата. «Порядка в ней нет» – это значит, что есть беспорядок, неустройство, безнарядица, хаос (тот самый «Хаос родимый», который все еще «шевелился» в нашей душе в 19 веке, а в 20-м вновь вдруг вышел наружу). Причем, этот Хаос как-то уж очень органически связан с производительной мощью Земли. Последнее, впрочем, естественно: во всех мифологиях мира Земля порождает ужасающих чудовищ, типа (у греков) Титанов, Киклопов, Сторуких, сюда же – Лернейская гидра, Химера, Тифон, Сфинкс, Цербер и так далее. Со всей этой хтонической нечистью, силами Хаоса, никак не способствующими Порядку, борются новые светлые божества, призванные «обустроить» Землю. На смену хтонизму матриархата идет героизм патриархата. В греческой мифологии это Зевс, сражающийся с Титанами и Сторукими, или, еще например, Аполлон, убивающий Пифона. А у славян это Перун, мудрый и сильный покровитель князей и дружины, серебрябородый метатель молний, прославившийся тем, что пригвоздил к почве змееобразное хтоническое чудовище. Изображение этого великого поединка (в преображенном виде) мы можем сегодня видеть на гербе Москвы, а также – на дверцах московских милицейских автомобилей.

Змееборец и Змей

В славянском фольклоре Змей представлен такими знаменитыми фигурами, как Тугарин Змеевич, «друг милый» жены князя Владимира, которого («друга») крутой паренек Алеша Попович расчленил и разметал по чистому полю (что княгиню, конечно, весьма опечалило). Можно еще назвать Огненного Змея, вступающего в половую связь с

женщиной, от чего родится существо змеиной породы, которое бьется с собственным отцом и побеждает его (этот эдиповский мотив запомним на будущее). Известен также Змиулан, чьи стада сжигает царь Огонь (явно ипостась Перуна). И наконец, нельзя забывать о Змее Горыныче: эта «люта змея» – вечный антагонист русских богатырей. Особенно – Добрыни Никитича, который, кстати сказать, как-то раз победив Змея, заключил с ним договор – «велики записи немалые» – не устраивать больше кровопролития (примерно та же юридическая мифология, которую имел ввиду Ключевский). Горыныч, разумеется, нарушает этот пакт о ненападении – похищает из Киева Забаву Пугачишну, в результате чего Добрыне приходится предпринять экспедицию в самый эпицентр демонического – «норы змеиные». Спешу добавить, что Змей Горыныч был вообще большой женолов, и женщины, судя по сказкам, его так любили, что готовы были ради этой змеюки даже губить своих мужей и братьев. Разве это не беспорядок? Впрочем, любовные связи эти обычно кончаются очень печально для Змея.

Обратите внимание: Змей хоть и описан в русском фольклоре как существо очень мерзкое, злое, опасное, а все же есть в нем и что-то трогательное, даже симпатичное. В чем тут дело? А вот в чем: собственно поединок Бога Грозы со Змеем – это древнейший общеиндоевропейский миф (потому-то я так спокойно ссылаюсь выше на всех этих Зевсов, Пифонов и прочую нечисть). В славянской мифологии поединок громовника Перуна происходит со скотим богом Велесом (обладающим змеиными чертами) за обладание скотом (вспомним Землю-кормилицу). А Велес это, знаете ли, уже не просто какая-то змея, это наш родной и любимый автохтонный бог – покровитель скота и податель богатства. В христианскую эпоху он стал почитаться под именем св. Власия, а также Николы, любимых святых русского народа, милостивых защитников, в отличие от Ильи и св. Георгия (суровых христианских ипостасей языческого Перуна). Как сказал один костромской крестьянин: «Микола старше Ильи-то, Микола – милостивый, а Илья построже, с нами шутить не любит».

Огромное количество подобного рода поразительных подробностей о взаимоотношениях разбираемых нами

здесь божественных сущностей (особенно – в их христианском инобытии) можно найти в книге Бориса Успенского «Филологические разыскания в области славянских древностей». По ней забавно следить за тем, как на месте древнего капища Волоса возникает Волосов Николаевский монастырь, или – ломать себе голову над тем, что бы это значило такое странное пророчество: «Когда Бог умрет, богом станет Никола» (и не подтвердилось ли оно в XX-м веке)? Впрочем, у нас здесь задача немного иная: исходя из предположения, что мифические сущности бессмертны (то есть никуда не исчезают, но, лишь меняя имена, продолжают функционировать в иных контекстах), поискать эти сущности в нашей обыденной жизни и в русской литературе, которую в этой связи можно рассмотреть не просто как беллетристику, но – как своеобразное священное писание. В этом священном писании поэты (которые в этом и только в этом смысле больше, чем поэты), рассказывают под спудом цензуры (духовной, правительственной или собственно авторской) различные варианты национальных (языческих) мифов (баек, кошун), – историй, которые под видом светских повествований обращаются к языческой части нашей души, – запрещенной, подавленной части, но – все же живой (что видно хотя бы уже по тому, что иные христианские святые вдруг оказываются аватарами языческих богов).

Эта языческая часть души требует постоянной подпитки для своего существования. А точнее, это божественные (или там – демонические) сущности, живущие в ней, жаждут жертв, поклонения, пищи для продолжения своей жизнедеятельности. Именно эту жажду и насыщает литература, которая под видом вполне безобидных историй рассказывает мифы о языческих богах и, таким образом, актуализирует их (и богов, и их мифы). Ни читатели, ни писатели чаще всего даже не догадываются о том, что, имея дело с литературой, оказываются в зоне сакрального. И тем не менее это так – ведь божественные сущности дремлют в душе человека, а священные тексты и ритуалы пробуждают их к активной жизни. И вот уже бог (языческий) в душе человека заставляет своего носителя совершать нечто, может быть даже, не очень понятное самому деятелю и его окружению. Например, на исходе просвещенного 18-го ве-

ка жечь изданную в академической типографии книгу и забивать ее автора насмерть. Или провоцировать идиотскими указами беспорядки на улицах Москвы в конце века 20-го.

Божественный народ

Впрочем, я опасаясь, что то языческое богословствование, которое вкралось в конец предыдущей главки, может кому-то показаться слишком оторванным и от жизни и от трагедии Княжнина, которой мы здесь занимаемся. Пора уже вернуться к ней и ясно сказать, что Рурик, воплощающий собой силы порядка, призванного «обустроить Россию», отчетливо ассоциируется с княжеским божеством Перуном, а Вадим, один из новгородских вельмож (тех самых, что «гордыню, зависть, злость, мятеж ввели во град») ассоциируется со Змеем. Посудите: едва только вернулся из своего похода, как сразу и устроил кровопролитный мятеж. То есть – Вадим существо совершенно хтоническое, сеющее вокруг себя хаос (хотя до роковой отлучки это вроде бы было не так), одержимое какими-то первобытными идеями свободы и демократии, по которым, якобы, раньше жил Новгород (нам их придется еще рассмотреть). В общем этот туземный хтонизм выдает нам в Вадиме какое-то местное божество, борющееся против чужеземных влияний. И терпящее поражение, согласно судьбоносным предначертаниям общего индоевропейского мифа.

В побиваемом автохтоне, как мы уже видели, должны быть какие-то змеиные черты, а в победоносном пришельце – черты громовержца. Открываем Княжнина и читаем: Вадим не хочет «без славы пресмыкаться», своим соратникам он в раздражении говорит: "ступайте, ползайте, их грома тщетно ждите" (то есть надо еще постараться, чтобы вызвать себе на голову этот гром, – очень важный змеиный мотив, как мы ниже увидим), далее Вадим ожидает, что Рурик «нас попрет ногами», «подножья своего считать нас будет прахом», Вадим не хочет жить, «вокруг трона ползая» и «пресмыкаясь толь мерзко, как змея» (что, впрочем, не столько отрицает, сколько подчеркивает его змеиность). С другой стороны Рурик и его клеветы выражаются так:

«ядом наполняй те раны преглубоки» (весть об измене вельмож), «исполнены к тебе свирепейшего яда» (заговорщики к Рурику), «да упадут во прах, отколы голову подъяли» (о путчистах), «неблагодарностью гром неба привлекают» (опять-таки о путчистах, зовущих на свою голову гнев громовника). Княжнин вряд ли хочет сказать, что Вадим это Змей, а Рурик – Змееборец, но змееборческая архетипика явно лежит в подоснове их столкновения, и поэтому в текст, описывающий борьбу двух героев, исподволь вкрадывается соответствующая терминология.

Итак Господин Великий Новгород со всеми его порожденными новгородской Землей традиционными ценностями (повторяю: мы здесь не занимаемся научной историей) должен потерпеть поражение и терпит его даже еще до мифической схватки (в полном согласии с мифологическим сценарием): «Сей гордый исполин, владыки сам у ног // Повержен, то забыл, что прежде он возмог!» Но впрочем, поражение терпит не просто город и не люди, живущие в нем, а туземные ценности, олицетворением которых оказывается Вадим. Каковы эти ценности? Вот отрывок из программной речи Вадима, трактующей первоосновы хтонической теократии: «Уже заря верхи тех башен освещает, // Которые Новград до облак возвышает. // Се зрим Перунов храм, где гром его молчит, – // В недействии Перун, злодейства видя, спит! // И се те славные, священные чертоги, // Вельможи наши где велики, будто боги, // Но ровны завсегда и меньшим из граждан, // Ограды твердые свободы здешних стран, // Народа именем, который почитали, // Трепещущим царям законы подавали, // О Новград! Что ты был и что ты стал теперь?»

Что касается Перуна, то понять смысл того, что о нем говорится можно по-разному. Например так, что это какой-то ленивый бездейственный бог: видит злодейство составляемого Вадимом заговора и не обрушит на его голову гром (между прочим Рурик, заранее узнавший о заговоре, тоже все бездействовал, пока дело не дошло до восстания – прямо, как Ельцин в октябре). Но вообще-то перуново имя здесь Княжнин поминает более-менее всуе – так, чтобы только навеять аромат языческой эпохи. А в результате вылезло архетипическое: хтонический Змей жаждет копы или грома и работает над тем, чтобы оказаться пронзен-

ным. Впрочем, я чувствую, что здесь надо сделать некоторые дистинкции, чтобы в дальнейшем не путаться. Во-первых, у нас есть мифологический сюжет о битве Змеборца (небесного божества) и Змея (божества хтонического). Уже сейчас видно (а в дальнейшем это станет еще яснее), что – именно из этого общемирового сюжета рождается представление о демократии как системе противовесов и сдержек. Во-вторых, тут есть отдельная мифология, воплощающая сочетание ценностей порядка и самодержавия (болезненно актуализировавшаяся сегодня в России). И в-третьих, есть мифология традиционных ценностей, которую и излагает Вадим в своей вышецитированной речи.

В чем ее суть? Вадим различает две инстанции: во-первых, великие, как боги, но одновременно равные любому гражданину вельможи, и во-вторых, народ, чьим именем эти вельможи действуют, но одновременно его (народ) почитают. Такая конструкция заставляет видеть в народе некую божественную субстанцию (идеального субъекта государственной власти), а в вельможах – соответственно ее жрецов (почитателей народа и выразителей его божественной воли). Не составляет труда узнать в этой концепции народной теократии (или, если угодно, прямо – народовластия) то, что мы реально имели на протяжении большей части 20-го столетия. Вельможные члены Политбюро (формально равные каждому из нас, но по сути – почти богоравные) правили страной от имени народа и его именем заставляли трепетать соседей (а некоторым даже навязывали законы). При этом они были почитателями народа, как свободного властного субъекта, владеющего всем в этой стране; слугами его, мудрыми управителями народного хозяйства, истинными жрецами народа, чутко прислушивающимися к его божественному голосу и исполнявшими все его пожелания.

Народ и Змей

Увлекательный миф, ничего не скажешь, и очень красивый. Удивительно только, как это ему удалось всплыть в тексте Княжнина (который, мне кажется, все-таки не был пророком Народа). Но самое поразительное то, что в 20-м

веке этот миф так долго успешно работал, обосновывая советскую теократическую систему. Возможно, это допотопное сооружение потому так долго держалось, что слишком многие не различали: народ как собрание индивидов и Народа (с большой буквы и с одушевляющим окончанием) как верховное божество теократического государства. Мне уже приходилось писать («Независимая газета» 9.04.91 статья «Кошунa о Народе») о том, что государственное устройство советской народной теократии в основном тождественно устройству классических теократических образований (например, городов-государств Месопотамии), поэтому не стоит здесь останавливаться на деталях.

Однако надо иметь в виду, что ранние государственные образования (и Новгород не может быть исключением) строились по единому теократическому принципу: поселение с прилегающей землей – поместье бога, каковой есть концентрация и воплощение жизненных сил и мировоззренческих установок живущего на этой земле населения (я мифологизирую, конечно). В некотором смысле теократический бог и есть воплощение того таинственного факта, что вот этот народ живет на этой земле, возделывает ее и питается ее плодами, а кроме того – противостоит всяческим катастрофам и опасным соседям, от которых, к тому же, отличается по внешнему облику и по обычаям, каковы, быть может, и суть наиболее ясные проявления этого бога в этом обществе. То есть этот народ и есть сам бог, которого надо кормить («накормим народ»), слушаться («посоветуемся с народом»), выполнять его предначертания («выполним волю народа»), ибо без этого рушится общество, расплывается народ, гибнут граждане. Таково должно быть первобытное состояние, естественная теократия, в которой неразличимы общество (со всей его постепенно развивающейся инфраструктурой) и бог, бессознательно создаваемый этим обществом, но, одновременно, это общество создающий. И только позднее бог, как идеальная проекция общества, отделяется от общества как социальной структуры. Только тогда уже можно спросить: это чей бог? И ответить, например, это Бог Авраама, Исаака и Иакова. Или, если иметь в виду Вадима, можно ответить, что это Русский Бог (у которого, впрочем, как мы увидим, есть много иных имен и воплощений).

В дальнейшем та теократическая система, миф о которой я только что изложил, неизбежно становилась (по разным причинам) неэффективной, и вместо правящего бога с его древними законами (а правил действительно именно бог) править начинают цари (военные предводители, вроде нашего Рурика), устанавливающие новый порядок в государстве. Установление этого нового порядка повсюду сопровождается более-менее болезненными потрясениями. Вспомним хотя бы те войны, которые сопровождали появление царей у народа Израйлева.

Порядка у евреев к тому моменту, конечно, уже никакого не было, а был хаос, военные поражения и коррупция среди судей Израйлевых. Вот народ и стал приставать к пророку Самуилу, требуя: «Дай нам царя». И Бог на запрос Самуила ответил: «Послушайся голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними». Вы подумайте только: люди отвергают свое Божество, мистическое воплощение народа Израйлева, царствующее над ними (что и есть развитая теократия) ради какого-то неизвестного смертного, который (они предупреждены) в качестве самодержца отнимет у них то-то и то-то и превратит их в рабов, так что им вскоре придется восстать, – отвергают Бога ради несчастного человека Саула, у которого просто кишка тонка для того, чтоб вести подлинные религиозные войны, то есть – войны на истребление от имени Бога, который хоть и отвергнут в качестве Царя, но тем не менее остается все тем же хтоническим Божеством народа Израйлева, требующим исполнения древних кровавых законов. А Саул пытается обустроить землю обетованную по-своему, устанавливать свой порядок. Например, ему сказано было уничтожить всех амаликитян под корень, вплоть до грудных младенцев и ослов, а этот гуманист и накопитель – кое-кого пощадил и сохранил лучший скот, истребил же лишь самое маловажное. Вот в результате Бог от него и отвернулся, возвысил Давида и начались гражданские войны.

Я все думаю, как выглядел этот отвергнутый Бог? Уж не тот ли это Медный Змей, которого сделал Моисей, скитаясь вместе с народом в пустыне, и которого истребил только царь Езекия, отдаленный потомок царя Давида?

Премудрость жизни

Все-таки неплохо было бы уяснить себе положение и роль народа (просто людей) во всех этих религиозных войнах, в мифологических схватках, – схватках уже не людей, а божественных существ, или, если угодно, идеологических систем, воплощенных в персонажах антагонистах. Причем, я не имею в виду только персонажей, о которых мы узнаем из книг, более или менее древних. Я имею в виду также персонажей, которые, как только мы включаем телевизор, входят в наш дом со своими известными издревле ролями и мифологемами. Мы радуемся или возмущаемся, видя на своих телеэкранах Ельцина или Жириновского, Гайдара или Ампилова, но какую же роль в этой предвечной мистерии играем мы, люди?

Начнем издалека. Уже говорилось, что призом в борьбе между Громовержцем и Змеем в славянском фольклоре является скот. Изначально скот принадлежит Велесу, а Перун его отнимает. Здесь надо вспомнить, что именно скот был основой хозяйства древних славян. Однако сам по себе скот (просто животные) далеко еще не является достаточным основанием экономического благосостояния. Представьте себе, что скот достался Гайдару и его команде. Зная повадки этих людей, нельзя сомневаться в том, что они его немедленно весь перережут – отчасти съедят, а остальное протухнет. Но это патологический случай. Большинство же богов и людей понимают, что животные (или какие-либо иные ресурсы) – хоть и необходимое, но далеко не достаточное условие экономического благосостояния. А нужно еще и умение со скотом обращаться, некая премудрость скотоводческого бытия. Причем эта премудрость не сводится только к знанию способов ухода за животными, она предполагает еще и особый уклад всей жизни человека, – уклад, представляющий собой органическое переплетение религиозных представлений, культурных традиций, социальных взаимодействий, хозяйственных навыков, психологических доминант, а также – способов постоянного воспроизводства всего этого и трансляции от поколения к поколению. Эти слова, впрочем, не выражают вполне адекватно того, чем является эта премудрость для людей, погруженных в ее питательную среду. Для них – это просто их жизнь, а значит и – они сами, существа, этой жизнью

порождаемые и эту жизнь создающие. Так вот именно этим вот – всю премудрость жизни людей такой-то Земли (а не просто каким-то скотом) владеет тот Змей, которого бьет Громовержец. А люди (для которых сладостно тожество жизни с премудростью) потому и поклоняются Змею, что верят: премудрость принадлежит именно ему. В идеальном теократическом государстве, которое я выше описал, Змей и действительно владеет Землей – премудростью жизни людей этой земли, и людьми, которые являются носителями этой премудрости. Но вообще-то, как мы уже видели выше, Змей и сам является порождением Матери-Сырой-Земли, то есть – оказывается одним из элементов ее великой премудрости.

Я понимаю, как все здесь безбожно путается, но – таков уж предмет: по сути дела упомянутые тут земля, и люди, и премудрость – это все только разные аспекты одного и того же: неуловимой субстанции жизни, которая предстает то едой, то землей, то материнской утробой, то просто народом, который по-русски опять же называется землей (говорили: «пришла Ростовская земля» – то есть ростовчане), а то еще и премудростью жизни народа, которую в христианизированном варианте стали называть Софией Премудростью Божией (кстати, Владимир Соловьев вводит свой социализированный вариант этой мифологемы, отталкиваясь как раз от одной новгородской иконы). Древние индусы предпочитали называть эту изменчивую субстанцию жизни Майя и понимали ее как обман и иллюзию. Если жизнь – иллюзия, то они, разумеется, правы, но российское язычество, в лоне которого мы, сами того часто не ведая, до сих пор пребываем, – не столь пессимистично. Мы не видим ничего зазорного в том, что на наших иконах (я имею в виду не только христианские иконы, но и, так называемую, светскую живопись) и в нашем священном писании (литературе) это переменчивое существо изображается как прекрасная женщина.

Народ и женщины едины

Ну вот, например, Рамида у Княжнина. Разумеется, это не просто вообще какая-то девушка. Это та самая Земля (народ), которая призывает варягов. Ну, может быть, –

привлекает своим изобилием. Имя ее явно происходит от слова «рамень» (то есть – лес, примыкающий к полям), или – «рама» (окраинная область, а по-древнерусски – «граница, пашня, примыкающая к лесу»). Во всяком случае грань между относительной культурой и относительной дикостью в ее имени четко отмечена. Она и действительно вся на грани между старозаветным отцом и несущим новое Руриком. Она уже не понимает змеиных терзаний отца и считает, что даже он, «героя зря сего, // Свободу, гордость – все забудет для него». И действительно, разве «порок – любить спасителя граждан, // Который от богов к отраде смертным дан?» Народ, понятное дело, совершенно разделяет восторги Рамиды, ибо ставшая неэффективной теократическая система требует реформирования.

Это в общем-то очень понятно: воплощенная в женщине (а что может быть неуловимей и изменчивей ее?) текучая и развивающаяся премудрость жизни рано или поздно перерастает те формы, которые она сама же некогда создала. Змеиная теократия подвергается порче, начинает сама себя разрушать (змеи, как известно, время от времени линяют). Закосневший в своей допотопной правоте старый порядок воспринимается людьми уже как беспорядок и хаос (да ведь теперь он таковым и является). Вот люди и просят «Дай нам царя» или: «идите княжить и владеть нами». Ведь собственно – что более всего привлекает народную душу (или конкретно Рамиду) в пришельце? Не княжеский блеск, но – эффективные формы техники государственного управления, тот новый государственный аппарат, который в символической форме изображается на иконах в виде коня и копья, а на деле был хорошо организованной дружиной профессионалов. Увы, это то, чего начисто лишен бедный Змей, являющийся плотью от плоти Земли, на которой лежит и от которой имеет всю свою силу (в виде того, что впоследствии получило наименование народного ополчения, земского самоуправления и так далее).

Но не все так уж просто. Конь и копые (и мундир), конечно, весьма привлекательны для женственной мудрости, но есть путы, которые связывают помощней всякого рода поверхностной эротике. Мы уже отмечали, что Змей – порожденье Земли и что женщины в сказках всем сердцем тянутся к Змею. Вообще, вариантов взаимоотношений

Змея и женщины (одновременно – девы и матери, согласно таинственной сущности мифа) существует великое множество. Женщина змею может быть мать, подруга, жена, дочь (как в нашем случае), любовница, сестра (мотив инцеста почти постоянен), наконец, она может быть просто женщиной, как-нибудь связанной со Змеем. Сама идея этой связи очень изящно обыграна на некоторых русских иконах – представьте: Георгий пронзает Змея, а рядом – Дева держит в руках поводок, накинутый на змеиную (ну или, пусть, драконью) шею – прямо, дама с собачкой. И рядом, конечно, пещера, которая символизирует недра Земли, то есть – недра вот этой вот самой девы. Это и есть пещера Змея: он в ней живет – в женщине или в пещере Земли – безразлично. Он с этим гротескным средоточием женственности – единая плоть. Остромирово евангелие даже сопрягает змею и землю в одно слово: «змлия».

Таким образом, Змей и женственная Земля хотя и различаются, но – неразделимы. Это так всегда было и будет, сколько бы ни тыкал в Змея ловкий наездник своим копьем. Ну пусть даже проткнул он ужасного Змея, овладел бедной женщиной... Ну и что? Змей в результате погиб, что ли? Нет, он ведь и создан Землей, чтобы вечно быть протыкаемым. Земле, может, одно удовольствие в том, что Змея ее протыкают. Она к Змееборцу, может, для того и тянется, что бы он ей Змея проткнул, а она потом все равно со Змеем останется. Или – змееборец сам превратится в поганого Змея. Всякие варианты бывают, но разбору этих вариантов, воплощенных в классической русской литературе, мы посвятим следующую кощуну.

А пока разберемся с Рамидой. Как только Вадим обвиняет ее в измене, девушка разоружается перед партией защитников отечества: «Познай, родитель мой, познай в сей час меня: // Тебя достойна я, хоть мучуся, стена... // Сей нежный огонь любви, мне толь приятный прежде ... кляню и в нем порок мой вижу». Короче, во имя отеческой воли (воли отечества) Рамида готова умереть или отдаться клевету Вадима (тут опять инцестуозный мотив), хотя продолжает любить Рурика: «О, долг, долг варварский! мне должно жизнь хранить // И не для Рурика, а для иного жить». И далее: «Души я в Рурике лишена, // Уже вкушаю смерть, с собою разлучена». Разумеется, в этом весь корень тра-

гедии, но не просто трагедии девушки (это-то у Княжнина получилось довольно ходульно), но – трагедии жизни, раздираемой на части двумя мифическими идолами; потеря целостности той самой премудрости жизни, о которой (потере) мы выше много уже говорили, – утрата, так сказать, народного целомудрия. А поскольку Рамида и есть олицетворение жизни этого народа, постольку ее внутреннее состояние есть и состояние души народа, участвующего в усобице. Княжнин, кажется, вполне отчетливо понимает это и строго последовательно проводит параллель между ситуацией в городе (внешнее) и внутренними переживаниями Ракиды. Вот момент начала смуты: «Встревожен город весь – я паче всех смущена!» Вот начало битвы: «Уж люта брань кипит и кровь течет рекой. // И Рурик, и Вадим убийственной рукой // Друг в друге жизнь мою в сей час отнять стремятся». Именно так мог бы (если бы мог) сказать о своем положении безмолвствующий народ, втянутый в усобицу. Во всяком случае в октябре 1993 года воюющие стороны стремились друг в друге отнять общую жизнь народа, как целостности, а уж идеалы и интересы – были делом десятым.

Теперь должно предписанное сбывться

Змею не дано победить, он должен быть побежден и раздавлен – в этом весь смысл, весь пафос и, так сказать, вся романтика змеиного подвига. Змей жаждет копья – таков непреложный закон его бытия. И бывает смешно наблюдать человека, носящего в душе своей Змея, когда он с готовностью подставляется, а рядом нет подходящего Змеборца, который, хотя бы походя, пнул бы его. В этом случае Змей суетится, чувствует себя не у дел и – как бы лишним. Правда бывают аномальные случаи, когда Змей выползает из черепа княжеской лошади и язвит Змеборца, но их надо рассматривать специально (до следующей кощунны). А Вадим новгородский совсем не таков, он играет роль Змея строго по классическому сценарию мифа – как бы этому ни мешали привходящие обстоятельства. Например, то, что он не гибнет, как положено Змею, на поле брани. Ну что же, он не без удовлетворения констатирует: «Низвержен я в оковы наконец...» – и неуклонно ведет свое дело

к счастливому концу, то есть – к тому, чтоб скорее погибнуть.

И тут-то попутно выясняется, что все его многочисленные аргументы против царской власти (типа: «Коль чтит законы днесь, во всем равняясь с нами, // Законы после все и нас попрет ногами!») на самом деле – только повод для того, чтоб восстать, потерпеть поражение и принять орудие смерти в змеиную грудь. Это выясняется потому, что Рурик как раз допускает некоторые отклонения от своей змееборческой роли. Вместо того, чтобы сразу убить Вадима (как и предписывает Никонова летопись), он подпускает в общем не свойственный классическому громовнику гуманизм, позволяет себе рядиться с Вадимом перед лицом Рамиды и народа и при этом доходит до того, что объясняет свое вадимоборчество тем, что он «должен был» биться (мотив рока, предписывающего ему роль змееборца), чтобы «и славу поддержать, // И общества ко мне почтенье оправдать ... // И с трона нисходя – иль прямо в гроб вступить, // Иль жало клевете победой притупить». То есть вот до чего даже доходит: Рурик снимает венец с головы и, обращаясь к ставшему перед ним на колени народу, заявляет: «Вы можете венец в ничто преобразить // Иль оный на главу Вадима возложить».

Вадим, разумеется, отвращается от этого «орудия рабства» как черт от ладана, но – и не пытается ничего сделать для того, чтобы, согласно предложению Рурика, обратить венец в ничто. Вместо этого он лишь ругает народ («О, гнусные рабы, своих оков просящи!») и требует, чтобы ему отдали меч, которым он через краткое время заколется. Можно, конечно, искать рациональные мотивы этого поступка, говорить, например, что Рурик большой лицемер и все равно не отдал бы власти и прочее. Оно так, да только в сакральной области (которая для твердого рационалиста граничит с психической патологией – пафос, патос, фатос) – никакие рационалистические мотивировки не работают, и их, собственно, нет у Княжнина. Зато есть понимание того, что Змея и Змееборца примиряет оружие: «Се способ лишь один, чтоб другом быть твоим», – говорит Вадим получая в руки меч. Есть также понимание того, что словесные эскапады (вроде той, что только что описана) для них – лишь продолжение битвы иными средствами (и при-

том, по мнению Вадима, попавшего в плен и ждущего появления Рурика, – средствами извращенными, но очень действенными): «Се скоро придет к нам сей Рурик милосердный // И, в благодать лютую преобратя свой гром, // Мне сердце разорвет прощенья стыдом! // О, крайность страшная! ... // ...Разверзися, земля, // И в пропастьх закрой несчастного меня!» (это он так разговаривает с Рамидой). Ну и наконец, у Княжнина есть понимание того, что вся сила древнего Змея заключена в его постоянной готовности гибнуть. Эта готовность и есть залог его победы: «Что ты против того, кто смеет умереть?» – говорит он, умирая, Змеборцу.

Но еще раньше Вадима закаляется Рамида, которая, как только видит меч в руке отца, все уже понимает: «Се мой последний час, и все теперь свершиться!» Рурик еще рассуждает о будущем счастье и согласии, а Земля, на которой он намерен быть счастлив, уже повернулась к нему своею, если угодно, «азиатской рожей». Для Рурика, думаю, это было такое же потрясение, как для «Выбора России» (выбравшего Россию) победа Жириновского на выборах: «Россия, ты сдурела!» – обмолвился тогда один «выброс-выборос». Как видно, он совсем ничего не понимает в мистической (мифической) подоснове жизни (души) народа, которая не может допустить (как бы ни стремилась к реформам) внезапного отрешения от святынь своего прошлого. Сколько бы ни были ужасны эти святыни, они, тем не менее, составляют часть души народа и требуют, следовательно, осторожного к себе отношения (техника госбезопасности). А если палить по ним из танковой пушки, душе бесповоротно становится ясно, что любовь к такому громовержцу была порочна. Начинается поиск наощупь другого. Это – неизбежно. Если уж даже благородный княжнинский Рурик получает отставку, то что же говорить о каком-нибудь пьяном насильнике?

Короче: «Когда соделалась порочной та любовь, // Для коей жизнь прельщалась я моею, // Смотри – достойна ль я быть дочерью твоею», – говорит Рамида Вадиму и «заколяется». Что тут поделаешь («с божией стихией царям не совладать») – остается Рурику только заламывать руки и восклицать: «О рок, о грозный рок! О праведные боги! // За что хотели вы ко мне быть столько строги, // Чтоб

смертию меня Рамиды поразить?» Конечно же, боги тут – Вадим и Рамида (Змей и Земля). И конечно они (как боги) бессмертны. Живут себе в нашей душе посегодняя и время от времени устраивают кровавые мистерии. Это надо бы помнить любому правителю, а особенно – берущему на себя роль божественного Змеборца. Вот Рурик – он ведь не только чужак, он еще все что-то медлил, а в результате допустил бунт, выброс змеиной сакральности. И естественно после этого народ от него отвернулся (самоубийство Рамиды – это просто отказ от сотрудничества). Столь желанное Рурику соединение премудрости Земли (или земства) и власти, полюбовно-противоборствующее их сочленение, – не получилось. Ну и кем же он будет теперь править? Стоящими на коленях рабами (во всем подобными тем депутатам, которых в октябре 93-го перекупил на корню президент)? С таким контингентом, как мы это видим, далеко не уедешь. А собственно граждане, земля, олицетворенная в Рамиде, он ее потерял.

И вот тут возникает проблема: почему это вечно у нас в стране получается? В чем причина того, что народ в России предпочитает периодически умирающего и воскресающего в его душе Змея даже очень приличным с виду властям? Об этом мы поговорим в другой раз и на другом литературном материале.



Игорь ЯРКЕВИЧ

ДВЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Хорошо всем известно, что западная литература опирается на богатую и веками проверенную традицию.

Русская литература даже на журнальный столик не может опереться. И сил у русской литературы не осталось, совсем уже старая, а когда молодой была – не знает, и журналов она боится, и столики нынче совсем хрупкие пошли.

Западная литература давно и уверенно вышла на свет Божий. Русской же литературе весь ее жалкий век суждено блуждать в потемках.

Для русской литературы все навсегда кончено. У западной литературы, можно не сомневаться, впереди большая и светлая дорога. На этой дороге западную литературу ожидает невероятное количество таинственных приятных встреч и сюрпризов.

Западная литература имеет сильных и надежных покровителей. Русская литература не может похвастаться даже случайным кивком в ее сторону.

Если с западной литературой, не дай Бог, что-нибудь случится, ее тут же подхватывают, лечат, сдувают с нее каждую пылинку. На русскую литературу давно всем на-срать.

Больно ли за русскую литературу? Больно. Больно-больно. Даже у выдавших виды людей опускаются руки и дрожит голос, когда они задумываются о судьбах русской литературы. А что можно поделаться? Ведь о западной литературе пекутся, а жива русская литература, или уже не жива – никого не волнует.

Поэтому западная литература в прекрасной форме.

А русская литература поэтому же скурвилась и опустилась.

Западная литература вся нараспашку, вся каждый момент готова к услугам своего любимого читателя.

Русская литература ожесточилась, спряталась, до читателя ей и дела нет, от одиночества совсем уже озверела, а если и появится случайный читатель, то для него у русской литературы за пазухой всегда припрятаны газовый баллончик, анонимный пасквиль, кастет и противотанковый еж.

Западную литературу любят, помнят и ценят. Против русской литературы на крыльце у приличных людей всегда наготове бешеные собаки – чтобы русская литература ближе чем на два километра не подходила.

На западной литературе опять новая кофта. На русской литературе она бы тоже смотрелась, но прокаженные должны носить особую одежду, вот почему на русской литературе балахон, а в правой руке – палка с трещоткой. Балахон и трещотка не напрасно – глаза у русской литературы что у Медузы Горгоны – берегись, случайный прохожий, увидишь – на хуй ебнешься. Из-за этого русская литература обязана заранее предупреждать о своем появлении.

Западная литература шла, шла, и нашла. Русская литература где стояла, там и стоит.

Западной литературе удалось всех своих детей пристроить на теплые места. У русской литературы все дети незаконные, мыкаются, подбираются, а родная мать им даже кашки в голодный год не подбросит.

Западная литература – милое и отзывчивое существо. Русская литература – известная и заядлая сука.

Западная литература парит, как чайка, высоко среди неба, солнца и престижных издательств, а русская литература ужом под камнем вертится, сушит вонючее тело, лижет собственный хвост, если там, конечно, еще есть что лизать.

В русской литературе давно уже ничего не происходит. В западной литературе что ни день, то обязательно что-нибудь интересное.

Русская литература пугается одна переходить дорогу. А западная литература может хоть неделю скакать на лошади без седла.

У западной литературы чистые, добрые, практически детские сны. А вот русская литература во сне храпит на всю Россию, сон ее – тяжелый, ей снятся зловонные ямы и нагруженные черепами колесницы. Во сне русская литература вечно куда-то бежит и проваливается. Словом, сон у русской литературы такой, что даже врагу своему русская литература не может пожелать такого сна.

У западной литературы ясная и светлая улыбка. Русская литература улыбаться не умеет, и слава Богу! Ведь на русскую литературу и так смотреть страшно, а если она еще и улыбнется, то птицы разлетятся, а у кормящих женщин пропадет молоко.

Западная литература смеется легко и серебристо. У русской литературы такие скверные привычки, что с такими привычками только и возможно быть русской литературой.

Когда западная литература кого-нибудь пугает, то всем становится очень страшно, но потом снова весело и немножко грустно. Русской литературе и пугать никого не надо, она сама всего боится.

У русской литературы на глазу бельмо. К западной литературе и соринка в глаз не залетит.

Западная литература исправно беременеет, рождает легко. Бесплодие русской литературы давно уже вошло в разговорку.

Западная литература опять в расцвете. Издатели не успевают издавать, читатели – читать, масса новых имен, рассказ обгоняет рассказ, одна повесть лучше другой, что ни роман – то классика. И это не предел, скоро западная литература поднимется на новую для себя ступень. И это тоже будет не предел.

Русская литература там, где все этого и ожидали, там, где страх, боль, холод, тоска, одинокая старость в замызанном приюте. Хоть и поделом ей, хоть и сама виновата, но все сочувствуют, вздыхают, жалко, очень жалко русскую литературу, хоть и русская, хоть и литература, но все-таки живая тварь! А не полено у забора... Ведь жизнь прошла, а много ли радостей было у русской литературы? Да никаких. Но что можно поделать?

Западная литература не там, западной литературе нече-

го делать там, где русской, западная литература где расцвет, блеск лучей, тепло и вкусно.

Русская литература – это мир темных страстей и полового безразличия. Западная литература твердо стоит на трех китах: нравственность, только нравственность, и еще раз нравственность. Плюс сострадание к маленькому паразиту.

Западная литература – это просто фантастика! О русской литературе такого не скажешь.

Так и хуй с ней, с русской литературой! О западной литературе такого не скажешь.

Западная литература идет по жизни как по мягкой траве. Русская литература пришла, понюхала воздух жизни и ушла.

Русская литература – вавилонская блудница, поистрепалась вся, поистаскалась, вот и не знает, куда теперь деваться от стыда и позора. А западная литература – чистая, опрятная девушка, благоденствующая, кавалеры на нее дышать боятся.

Поэтому русскую литературу гонят, а о том, чтобы ее к приличным людям допустить, вообще не может быть и речи.

Западную литературу привечают как только могут, а к приличным людям ее пускают и тогда, когда она даже сама этого не хочет. Западная литература уже несколько устала от приличных людей.

Непослушных детей, когда дети расшалются и не хотят есть по утрам манную кашу, мамы пугают русской литературой. Придет, говорят мамы, большая бука русская литература, покрошит в кашу и съест вместе с кашей; дети сразу становятся тихими и послушными. Разумеется, западную литературу детям всегда ставят в пример.

С западной литературой всегда все в порядке: и сейчас, и раньше, и потом. В тот самый момент, когда русскую литературу зачали в пизде ее матери России, она была обречена.

Западная литература – желанная дочь любимых родителей. Русская литература – неправильно вынутый из чрева плод по халатности врачей-акушеров.

Западная литература очень привлекательная и даже красивая. У русской литературы все болит, дурной взгляд

и постоянная перхоть, вот беда! А все потому, что русская литература моет голову не тем шампунем!

Вчера ночью русской литературе снова приснился плохой сон: козявки, изба в тараканах, рвущиеся во время прыжка парашюты. К тому же во сне русская литература не только храпит, но и сопит, с ней сложно находиться в одной постели.

А что приснилось западной литературе? Как обычно, цветущая весенняя трава, которая помахивала всеми своими стебельками и листиками. Делить постель с западной литературой одно удовольствие.

Русская литература четыре года просидела в одном классе. Западная литература – прекрасная ученица, играючи кончила школу, в университет прошла без экзаменов, получила прекрасное распределение.

Западной литературе вчера подарили цветы. Русскую литературу опять послали на хуй. Когда ей как-то раз, по ошибке, подарили цветы – тогда она действительно удивилась. Цветы русская литература после продала в цветочном ряду на привокзальном рынке.

У русской литературы за душой три прочитанных книжки, одна из которых – букварь, а две других она, скорее всего, придумала. Читать русская литература не читает, может, и хочет, да не может, чтение доставляет ей настоящие муки. У западной литературы – лучшая библиотека в Европе. И в Америке. И в Японии.

Русская литература целыми днями спит, дом запустила, штопает и стирает только из-под палки. Русской литературе проще выбросить грязную посуду, чем помыть ее, а потом есть руками из кастрюли.

Западная литература – мастерица на все руки. Ее прелестный дом давно стал образцом для молодых хозяек.

На русскую литературу уже лет сто ни у кого ничего не стоит. «Наша западная литература разбудит и поднимет даже парализованного кастрата», – шутят известные западные сексопатологи.

Западная литература так хороша, потому что родилась под очень хорошим знаком Зодиака. Русская литература появилась на свет под таким созвездием, что на него крещеному человеку в безлунную ночь смотреть стыдно.

На русской литературе последняя шапка горит. Слезы

наворачиваются, когда начнешь думать о русской литературе, но сделать уже ничего нельзя, все решено, все конечно, час возмездия пробил над русской литературой! Над западной литературой он не пробьет никогда.

Вот двадцать первый век на носу, западная литература входит в него уверенно и достойно. Хорошо потрудились, выросла, окрепла... Начнешь издавать «Избранное» западной литературы за двадцатый век – глаза разбегаются, в сто томов не уложиться, хочется еще и еще. Русская литература весь двадцатый век ленилась, тратила себя на пустяки, чужого не отведала, а своего не припасла.

У западной литературы есть вкус, она себя очень любит. У русской литературы, надо отдать ей должное, тоже есть вкус, она себя терпеть не может. Все-таки она не без таланта, эта самая русская литература... А вдруг свершится чудо, и она из бедной золушки превратится в прекрасного лебедя?

Русская литература сама себя высекла. На западную литературу никто руку поднять не смеет, а на себя западной литературе не то что руку поднять не дадут, а мимоходом плохо подумать не позволят.

К западной литературе прилетает на плечо петь жизне-радостная муза, у русской литературы под ногами хлюпает болотная жижа.

Вчера поздно вечером западной литературе взгрустнулось, и она пошла гулять на открытую веранду, где распу-скались левкой. Когда русской литературе сделалось грустно, то она бессильно скрежетала зубами. Женщины, услышав этот звук, прятали детей, убегали прочь мужчины и собаки.

Западная литература понимает, что писатель Кафка – это одно, а психиатр Фрейд – совсем другое, художник же Дали не имеет с ними двумя ничего общего. Русской литературе что Кафка, что Фрейд, что хуй с горы – уже давно разницы нет.

Если западной литературе показать пальчик, то она захохочет. Если русской литературе показать пальчик, то она всю руку откусит, поэтому никто русской литературе руку и не протягивает, зная о ее скверных привычках.

Русская литература – это униженные и оскорбленные бесы в мертвом доме, мертвые души в подземелье, и сума-

шедшие подростки во тьме, и преступление на дне, а наказание в котловане. Западная литература – это всегда фиста, праздник, волшебное место, путешествия и пикники, счастливые концы.

У западной литературы удивительно нежная и чистая кожа лица. Нос русской литературы вечно измазан в говне, а на носу огромная гнойная шишка.

В западной литературе масса комплексов, которые она легко и весело вытесняет, обыгрывает и перепрыгивает. У русской литературы комплексов нет. Казалось бы, хорошо, но дело в том, что русская литература с тех пор, как ее родила мать Россия – один сплошной комплекс, и этот комплекс не только не перепрыгнуть, его с места на миллиметр сдвинуть невозможно.

От Запада его литература получила все. В России ее литература даже как подстилка не подходит. Как все-таки жаль русскую литературу, как хочется иногда что-нибудь для нее сделать и чем-нибудь ей помочь! Но слишком все безнадежно.

При западной литературе вертится немало перспективных учеников, а над русской литературой постоянно кружит и тяготеет хер знает что.

У западной литературы нет проблем. У русской литературы нет ничего, кроме проблем. Да и самой литературы русской тоже нет, вся она – фантом, или мираж, или что-то такое. С западной литературой проще, ее можно прямо сейчас взять и потрогать. Что касается камешка в огороде, то русской литературе его некуда бросать – и литературы-то нет, а когда была, то огорода не имела. Угодья и поместья западной литературы надежно защищены от всяких камней.

Для западной литературы самое главное – расставить добро и зло по разным полкам и, не дай Бог, их перепутать! От русской литературы этого не дождешься.

Русская литература не научилась жевать. Казалось бы, русская революция – ерунда, мелочь, а торчит и торчит костью в горле русской литературы. Западной литературе что, она таких русских революций по восемь за один раз проглотит и не заметит.

Русская литература, мало того, что моет голову не тем шампунем, она – каталог венерических заболеваний. А у

западной литературы под рукой отличные превентивные средства.

На дальнейшее существование западной литературы самые радужные прогнозы. В отношении русской литературы любые прогнозы бесполезны, только зря время терять.

Русская литература отвратительна, западная тоже очень плоха, но, по всем неписанным законам, победителя, то есть западную литературу, не судят, а лежачего, то есть русскую литературу, не бьют.

Западная литература, даже и плевать трижды не надо, здорова. Русская литература, увы, больна. Впрочем, на иное и не надеялись. Но не надо дразнить русскую литературу, не стоит говорить в ее доме о здоровье, пусть даже и дома нет, а то русская литература снова начнет царапаться и биться в истерике. Болезнь запущена, исправить ничего нельзя, русской литературе остается только смириться и занять свою привычную скромную тихую нору и, поудобнее свернувшись там калачиком, кусать ногти и выть, издав себя завидуя своей прекрасной сестре – западной литературе. А западная литература не забывает свою несчастную русскую сестру, обязательно раз в год помянет ее минутой молчания и стаканом лучшего западного коньяка. Она даже собирается прислать своей русской сестре гуманитарную помощь, да только вот не знает куда и не поздно ли уже присылать.

Говорили, правда, что у русской литературы есть потенция, и если с помощью этой потенции русская литература себя реализует, то ее тоже обнимут приличные люди, у нее появятся хорошие сны, нарядные одежды, а дети ее будут счастливые и толстые, каждому из них достанется по упаковке жвачки и литру свежего молока. Будет трудно, но как-нибудь, ползком, незаметно, маскируясь, русская литература приблизится к своей недостижимой западной сестре.

Горько, обидно за русскую литературу, но ничего – так просто она не исчезнет, она будет как тень, как призрак, как страшная семейная тайна приходиться в сны к западной литературе по ночам, а если западная литература днем заснет, то русская литература и днем придет, и тогда западная литература, сука, блядь такая, все узнает, что испытала и вынесла русская литература. Хороший тогда сон будет у западной литературы!

Семен Лунгин

КАК Я СТАЛ ВЗРОСЛЕТЬ

Я был тогда еще, наверно, семилетним. Жили мы на даче, под Москвой, в деревне под названием Барвиха, километров около двадцати от Поклонной горы, которую теперь срыли... Да, да, срыли гору, правда, невысокую, но все же поднимающую взобравшихся над горизонтом настолько, что в ясный день была видна панорама Москвы с извилами Москвы-реки, с золотыми куполами сорока-сороков, с легендарными садами, вроде черемукинских, антоновка из которых радовала москвичей чуть ли не до Великого поста. Был прекрасно виден Храм Христа Спасителя – властитель столичной урбанистики, затмевающий отсюда, с Поклонной горы, даже его Превосходительство Кремль. Я прекрасно помню мое счастье, когда мне разрешили ехать на дачу не поездом с остальными родичами, а на ломовой телеге-полке, с сыном нашего хозяина Колей. Помню, как мы остановились на самом гребне Поклонной горы, изрядно поднимающей Можайский тракт, что берет начало с Дорогомиловской заставы, – он зажат перед подъемом двумя кладбищами: Русским, на котором была похоронена моя няня, Аграфена Владимировна Карапузова, уроженка Лопасни, что по соседству с Серпуховым, где имел удовольствие родиться я, и Еврейским кладбищем, где лежали и дед мой, и бабушка, и дядя Яша, какой-то крупный начальник в ВСНХ, что на площади Ногина. «Крупный» потому, что за ним по будним дням приезжала казенная пролетка и увозила его в присутствии, а по вечерам, по окончании службы, возвращала назад в несгоревший в по-

жар московский двухэтажный дом на углу Манежной улицы и въезда в Боровицкие ворота Кремля. Из окон теткиной квартиры я много лет кряду наблюдал за возвращающимися с первомайских и октябрьских парадов войсками, оглушался громоханием оркестров и ксилофонным цокотом копыт Красной кавалерии, про которую, как известно, какие-то «былинники ведут рассказ». Я видел у проходящих мимо окон демонстрантов огромную фигу, сделанную из папье-маше, и написанные на ней крупные слова: «Наш ответ Чемберлену», я видел, как сжигали гигантские фигуры каких-то врагов народа и как они факелами пылали, грязня облака клубами черного дыма под улюлюканье толпы...

Да, трудно начать историю из тех времен, все время сбиваешься в сторону... Итак, я ехал на подводе с дачными вещами в Барвиху, тогда облюбованную разбогатевшими в нэповское время, как и ныне, энергичными людьми. Потом, когда их переарестовали, Барвиха, как знак состоятельности, передавалась из рук в руки тем, кто этим знаком должен был обладать. Нэпманы – чиновникам, чиновники – деловикам, деловики – 4-му Медуправлению Кремля. А теперь Медуправление свою вотчину никому не передало, а чуть потеснилось, да и областная милиция не преследует поселившихся без особого права. Теперь там, в округе, строят свои еще не знакомые Подмоскovie коттеджи из заграничных кирпичей в два-три, а то и четыре этажа те, которых называют нынче «новые русские». Это, как правило, мускулистые молодые люди, выглядящие «как надо», прикинутые «как надо», умеющие по-английски, разъезжающие на своих «Вольво» и «Мерседесах» и имеющие, как говаривал мой украинский приятель, «всэ самое хорошеэ»... Ну вот, опять занесло не туда...

... Остановились мы на самом гребне Поклонной горы. Это Коля специально придержал лошадь, чтобы я на Московку поглядел, как Наполеон, когда пришел ее брать... И я поглядел. День был светлый, купола сверкали, словно изнутри в них горели огни. Я четко вспоминаю мое тогдашнее ощущение от перламутрово-переливчатого великолепия безалаберно слипшихся домов, будто уползавших с окраины к Храму Христа, да малость недоползших и сгрудившихся вокруг него, и новых рослых доходных домов, построен-

ных в начале века. Это я сейчас старательно подбираю слова, вспоминая ощущение более чем полувековой давности, а тогда я, помню, просто замер и вертел головой, как в зоологическом саду, чтобы не пропустить ничего...

Когда мы приехали, наша компания уже сидела на скамейке возле клумбы.

– Ну, слава тебе, Господи! – сказала няня, когда мы вошли в садик перед терраской.

– Ты Москву видела? – спросил я ее солидно.

– Не-е-е, – протянула няня.

– А я видел.

– И чего же ты видел? – спросила она язвительно.

– Все! – отрезал я, обидевшись.

И все почему-то засмеялись. Я до сих пор не могу понять, почему.

Я проснулся ни свет, ни заря. Окно над моей раскладушкой не затворяли на ночь. Чудный сиреневый дух, прохладный, как вода в ручье, обдавал меня из-за задернутой занавески. Я отодвинул ее. Освещенная косым солнцем, между двумя порядками домов в нашем проулке, лежала пыльная дорога. Такой мягонькой пыли я нигде больше не видел за всю мою жизнь. Когда босой ступней погружаешься в нее, она, как облако, обволакивает пальцы и пятку – серое облако, теплое сверху, холодное снизу. И у тебя тут же возникает радостное ощущение: наконец свершилось, все! – ты на даче! Отныне ты босиком на все лето, и ноги в пыли тоже на все лето!.. Я выбежал в палисадник. Под липами еще таилась ночная прохлада. То там, то здесь на посыпанной песком дорожке вздымались кучки входов в обиталище дождевых червей. Все в порядке, и черви на месте. Новым было то, что перед забором, снаружи, оказалась огромная трехгранная призма – штабель, сложенный из досок-тридцаток метра в три высотой. Длинные доски лежали неплотно, на брусочках – вся конструкция была сквозной, продувной. «А как там внутри?» – подумал я и, сказано-сделано – полез вверх, вставляя пальцы в промежутки между досками. Чем выше я поднимался, тем становилось страшнее – ничто меня не поддерживало, резкий ветер прижимал майку к телу, надувал трусики, как воздушный шарик. Больше всего мне хотелось откинуться назад, но инстинкт самосохранения прямо колотил в мозг: разобьюсь на тысячу кусков...

Наконец, моя голова возвысилась над самой верхней доской. Вершины деревьев оказались на уровне моих глаз, птицы летали со мной наравне, до блеклого утреннего неба, казалось, рукой подать! Оставался самый трудный номер – перекинуть одну ногу и усесться на верхнюю доску. Раз, и все! Но вот сделать этот «раз» было невозможно. Почему? Почему-то!.. Было страшно. Я чувствовал, что порывы ветра сносят меня с доски, что пальцы от напряжения немеют, становятся нечувствительными, что какая-то опилка засорила глаз, и слезы, остывая на ветру, щекочат, стекая, мою щеку...

– Ты где? – раздался невеселый дедов голос.

Ой, только бы не попасться ему на глаза! Я точно знал, что сулит мне эта невеселость. Ужас охватил меня!.. Где искать спасения?.. И вдруг меня словно что-то подбросило вверх и, сам того не заметив, я оказался верхом на доске... Истинная правда – я не понял, как это случилось... И вот, много-много лет спустя я шел по Дмитровскому шоссе в глазную клинику. То ли задумался, то ли отвлекся, но так или иначе, не обратил внимания, как переключился светофор, и застывшая орава огромных грузовиков с прицепами сорвалась с места. Скрипя и воняя, чуть ли не царапая бока друг другу, рывком набрав большую скорость, они устремились вперед... И я увидел, нет, скорее почувствовал эту мчащуюся на меня грохочущую смерть. Окажись я между машинами, меня бы стерло в порошок. Но перебежать на ту сторону я тоже не мог, все эти чудовища неслись куда быстрее меня. «Господи, – мелькнуло у меня в голове, – Господи...» Что было потом, я не проследил сознанием своим, но явственно помню, что ощутил толчок, словно меня подхватило мягкое, широкое, во всю спину крыло и выкинуло на островок для пешеходов между светофорами. И в тот же миг меня шибанул в затылок удар смертельного ветра от пронесшегося мимо грузовика, он сбил бы меня, если бы не... Я тогда не понял, что именно произошло, как до конца не понимаю и теперь, когда уже почти вся жизнь прожита...

В 60-е годы я сочинял либретто «Мистерия апостола Павла», и мы консультировались с покойным отцом Александром Менем, с которым я хорошо познакомился в те дни.

– Скажите, Александр Владимирович, – спросил я его, рассказав примерно то, что сейчас написал. – Что же случилось со мной?

– Это был ваш духовный опыт, – серьезно ответил он и улыбнулся.

Я сначала решил, что отец Александр шутит, ведь ему, умному, современному человеку, было весьма свойственно чувство юмора, но потом вспомнил ту давнюю Барвиху, когда я вдруг непонятно как оказался на дощатой тверди между небом и землей, и это понимание вошло в мир моих представлений о жизни, как некая данность. Я и поныне твердо считаю его своим приобретенным богатством. И мне известно, что я не один, кого отец Александр, вроде бы походя, одаривал таким знанием.

... Я сидел наверху сложенных для просушки досок, вцепившись в края верхней доски побелевшими пальцами. Порывы ветра не стихали, обдавая меня холодом высоты. В коленки впяпились большие занозы, ранки кровоточили, но у меня все не доставало решимости оторвать руки от доски и попытаться вытащить их. Да, надо сказать, что я в детстве был на удивление легок весом. Я не весил пуда, и домашние прозвали меня «фунтиком». Я был очень гибок и даже мог пролезать сквозь крокетную дужку – проволочные воротца, сквозь которые надо было прокатывать деревянные шары деревянными же длинноручными молотками. Это была классическая по тому времени дачная игра. Крокет был чуть ли не в каждой даче. Так вот мне пришло в голову, что если я такой легкий, то не расшибусь, если ветер подхватит меня и утащит, как листик, куда-нибудь на огород... Но, скованный страхом, я продолжал сидеть на воздушных и перебирал возможности спуска вниз. Выхода не было. Без помощи не обойтись... А главное, как миновать деда? Я чувствовал, что он голодным волком бродит поблизости в поисках добычи. Мне стало ясно, что рассчитывать можно только на чудо, и я принялся ждать чуда.

И тут какие-то мягкие удары, словно кто-то выбивал подушку, вплелись в свист ветра. Я поглядел вниз. С моей верхотуры была видна почти вся дорога, покрытая этой замечательной барвихинской пылью. Но вдоль забора с моей стороны росла бузина – густые кусты, должно быть,

что-то таилось за этой бузиной, которая и мешала мне видеть, что там так невнятно стучит. Я замер в ожидании...

И вдруг!.. Вдруг из-за куста появилась лошадиная голова! Нет, не лошадиная, унылая, качающаяся вверх-вниз, потряхивающая гривой, замученная жизнью рабская голова крестьянской лошади, а словно бы отлитая из благородного металла изрядным скульптором, голова полномочного представителя лошадиного племени на этой земле, голова Его Превосходительства Коня, гордая, сосредоточенная на плавном движении, не зыркающая по сторонам от праздного любопытства, а полностью отдающаяся некоей миссии, значения которой я разгадать не сумел. Это было на редкость возвышенное явление коня народу! Восторг и непонимание охватили меня – я ведь и ждал чего-то неведомого, невиданного, небывалого. У меня даже, помню, во рту пересохло от охватившего жара.

И вот!.. Из-за такого прозаичного бузинного куста выплыл, явился, появился, одарив меня праздником зрелища, весь красавец конь, черной, словно вороново крыло, масти. Он был взнуздан и под седлом. А в седле, упираясь золотыми сапожками в золотые стремяна, сидела чудная, превосходная, удивительная, изумительной прелести девочка и помахивала стеком – короткой палочкой с ременной петелькой на конце. Девочка была в желтом платье, в желтой жокейской шапочке, из-под которой выбивались золотые, шевелящиеся на ветру локоны. В отличие от коня золотая девочка с любопытством зыркала по сторонам и, надо же, увидела меня, сидевшего на верхней доске штабеля и вцепившегося в нее, словно рак клешней.

– Эй, что ты там делаешь? – крикнула она звонким голосом. И, поскольку я не ответил, прокричала еще громче: – Ты что, глухой?

И вместо ликования, что я замечен, восторга, что мой подвиг оценен, что я, сидящий наверху с остекляневшими глазами и руками, потерявшими гибкость, не вызываю у нее издевательского смеха, меня охватило странное предчувствие, что взлет моего субтильного естества на высоту птичьего лета был лишь предвкушением ее появления, ее вторжения в мою жизнь. И даже дедово: «Где ты, негодяй? Отвечай! Ты же не мог далеко уйти, выходи!.. Ну, погоди, сукин ты сын!..» – перестало меня утрачивать. Он, должно

быть, как теперь говорят, завелся с пол-оборота и запамятовал во гневе, что моя мать – его дочь, которой он очень гордился, к слову сказать.

С меня, видно, сошел седьмой пот, но не умирать же здесь. И разом напряженное тело ослабло, суставы разогнулись, и в помертвевшие пальцы снова начала втекать жизнь. Но вот рот не оживал. И хоть хриплое дыхание вырывалось из губ, ничего членораздельного я издать не мог. Зато я изготовился спускаться вниз. Спрыгнуть было немыслимо, эту возможность я отмел сразу. Значит, надо было как-то слезать. «Как влез, так и слезу», – заколдовал я себя, – «влез и слезу!..» Вдруг ноги мои как-то сами собой соскользнули и начали, извиваясь по-змеиному, судорожно нащупывать опору, хоть какую-нибудь, лишь бы твердую. Подтянуться на руках и снова забраться на верхнюю доску – не получалось, я это пробовал не раз. «Сейчас я, конечно, навернусь», – стучало в голове, – лишь бы только не сломать ничего. Но главное... ГЛАВНОЕ!.. Что-бы трусики не сдернулись, чтобы ни за какой выступ, случаем, не зацепились... Спаси Господи... Спаси Господи, спаси Господи... – шептал я, как няня. Возможно, я не только это думал, но и шептал, не помню... Но что яростно кричали ласточки, пролетая надо мной, помню отлично.

– Эй, ты! – раздался тихий голос. – Я сейчас точно стану под тобой, точно-точно, и когда скажу «Ап!», отпусти руки и лети вниз, а я тебя приму. Не бойся. Я, знаешь, гирию в пуд поднимаю.

«А я еще не вешу пуда, я – фунтик», – подумал я, а может быть и сказал громко...

Тут я услышал, что что-то стало тереться о досчатую призму, раскачивая ее и сотрясая.

– Эй, – заорал я во всю глотку, мой голос прорезался.

– Ты где, скотина? – отозвался дед откуда-то издалека. Из няниного огорода, что ли?

– Ахтунг! – скомандовала золотая девочка. – Внимание! Ап!..

Я никак не мог отпустить доску. Пальцы снова одеревенели.

– Ну, что ты не прыгаешь? Ты трус, да? Куража нет? Прыгай и все!.. Волик стоит и ждет тебя, я жду, а ты не можешь пальцы разогнуть, да?

– Не могу-у, – проблеял я. – Они как крюки в доску впились, и никак...

– Ну и что будет?

– Не знаю...

– Вот что. Слушать можешь?

– Ага-а...

– Между седлом и твоими ногами расстояние чепуховое. Тыфу! – а не расстояние. Я встану сейчас на седло и подниму руки, а ты хочешь – не хочешь, отцепляйся. Отцепишься?

– Ага-а-а...

– Ты другого слова не знаешь?

– Отцеплю-юсь... – прошептал я без особой уверенности.

Она, видно, встала на седло и вытянула вверх руки, потому что я почувствовал слабенькое прикосновение к моим пяткам, словно гусеница прошмыгнула и защекотала. Я дернул ногу – до сих пор не выношу щекотки...

– Ты что, ополоумел? – закричала она. – Тпру, Волик! Тпру, стой, милый! Ну вот, ейн клюгес пферд, гутес пферд, хороший конь, прямо прелесть, какой! Эй, ты! – это было не по-немецки, значит, обращено ко мне. – Я встану на цыпочки, а ты опусти ноги и упрись мне в ладонки. Гут?

Через секунду она тихонько свистнула. Это, видимо, был сигнал. Я вытянул ноги вниз, и пальцы мои наткнулись на что-то мягкое и гладкое... Я долго потом ощущал это прикосновение...

– Теперь, – сказала девочка, переводя дыхание, – я чуть приподниму тебя, а ты не кольхайся...

– Не-не-е, – снова заблеял я.

– Молчать! – сказала она грозно. – Чуть-чуть, понял! А ты тяни вверх руки и отцепишься. Ясно?

Я почувствовал, что ее руки напряглись, почувствовал зыбкую опору, почувствовал, что я вроде бы поплыл в воздухе, почувствовал, что мои пальцы оторвались от доски и перестали быть намертво сцепленными с нею. Я потерял бдительность и слегка откатнулся назад.

– Ты что, горбуном захотел стать! – завизжала она.

Я замер, ощущая, что скольжу вдоль нее, что ее руки обвивают меня, кольцом проходят по мне снизу вверх по ногам, по трусикам, задирая их до пупа, по маечке, задирая ее до горла, и вот они уже обнимают меня за шею, а пятки

мои сползают все ниже и, наконец, касаются чего-то твердого и очень гладкого, конечно, это были ее золотые сапожки. Так я прошел сверху вниз, обнимаемый ее руками, проскользнул спиной по шелку ее платица, нащупал пальцами ног что-то чужеродное. Это была уже настоящая опора, это было седло. Незыблемое твердое кожаное седло...

Воздушное путешествие, что я проделал, словно во сне от изнурения и страха, скорей всего окончилось. Ясность сознания исподволь вернулась ко мне, и я вдруг неожиданно-негаданно заплакал, да еще как! Прижимаясь спиной к ней, к моей золотой девочке... И она не оттолкнула меня.

– Ну, вот, – раздался ее вполне серьезный голосок, она не смеялась надо мной, она мне сочувствовала. – А ты теперь всегда будешь стоять на моих сапогах?

Я скосил глаза вниз и увидел, что мои пропыленные, босые пятки прямо вросли в ее золотые сапожки.

– Спасибо, Волик, ты лучший конь на свете, и я тебя люблю! Данке-шен!

Волик издал негромкий довольный звук, вроде коротенького ржанья, и шумно, прерывисто вздохнул, словно ребенок во сне.

– Он ведь тоже волновался, – сказала девочка, отодвинула меня чуть в сторону, ведь я уже сидел в седле впереди нее, дотянувшись до лошадиной морды и потрепала Волика кончиками пальцев по щеке. Волик оскалился, словно улыбнулся, и повернул назад морду. А девочка вынула что-то из кармана и, навалившись мне на спину, так, что я почувствовал все ее тепло, а ее щека коснулась моего уха, дотянулась до лошадиных губ. Волик тряхнул гривой и захрустел.

– Что ты ему дала? – спросил я. По-моему, это были мои первые слова, которые я, уже спасенный, смог произнести.

– Морковку. Он сказал няне, что это для него самый мед.

– Он сказал?

– Он, глупый ты мальчик, конечно, он.

– У тебя есть няня? – Мне что-то стало обидно, и я перевел разговор.

– Есть.

– И у меня есть. А как тебя зовут?

– У меня много имен. Дома – Ёлочка, во дворе – Ёла. На работе – Иоланта...

- Ух ты! На какой работе?
- В цирке. Я - Труцци.
- Ну да! И что ты делаешь?
- Мы работаем с Воликом. Вольтиж.
- Это что?

- Ну, всякие номера. В седле. На рыси. На ходу.

Она вскочила на ноги в седле, натянула повод над моей головой, подняла стек. Волик послушно вздрогнул и пустился небыстрой рысью, выбрасывая передние ноги. А она - я этого не видел, потому что не решался обернуться назад, но чувствовал, - она стала позади меня на руки и перекувырнулась вперед, так что я оказался у нее между коленками. И дух захватило у меня от восторга и какой-то телесной радости.

- А тебя как зовут? - спросила она, не отстраняясь от моей спины.

- Сима.

- Это женское имя, у нас костюмерша Сима.

- Мужское имя тоже. - Мне нередко приходилось отвечать на этот вопрос. - У меня есть знакомый мальчик, которого зовут Мура, а еще я знаю одного по имени Люся, только он уже взрослый. Потом есть Эля, потом Вика... Да мало ли!

- Понятно, - сказал она, помолчав.

Мы уже доехали до опушки леса по дороге, ведущей на станцию Раздоры. Справа, за соснами, проглядывал коричневый деревянный женский монастырь.

- И кто ты? Как ты сказала? Вы из Турции?

- Нет, мы - Труцци. Это наша фамилия.

- А-а-а.

- Вот тебе и «а». Да мы все, и папочка, и мама, и брат мой - мы все из цирка. Мы Труцци! Слушай, а ты правда меньше пуда?

- Конечно, правда. Меня вешали в Москве перед отъездом. Чуть-чуть не хватает.

- Честное благородное слово?

- Честное...

- Это, конечно, хорошо. Легко работать с таким весом.

- Что работать?

– Что хочешь, хоть прыжки, хоть темповые, хоть силовые...

– Какие силовые?

– Ну, стойку жать в седле, или махануть прыжком в седло. Схватиться кистью за луку и с манежа в седло – раз! Понятно?

Наверно, выражение моего лица было красноречивей слов.

– Оттолкнуться двумя ногами, почувствовать ритм коня и – раз!

– Ладно, – сказал я. – А за какой лук надо хвататься?

– Правду твой дед говорит, болван и есть!

– Ну за что ты меня? Не знаю я, и все! за что надо хвататься?

– Если бы ты сидел передо мной не как мешок с опилками, я бы тебе показала. Лука, – она рассмеялась уже миролюбиво, – это вот перед седла...

«Да, характер у нее, наверно, тот еще, – подумал я, – с такими опасно связываться».

– Ну? – спросил я.

– Дуги гну, – ответила она, – вот, гляди. – Она протянула руку и, скользнув по моему бедру, привычным движением впиалась пальцами в бугор седла, тот, что поднимается как раз за лошадиной шеей.

Я чуть не умер от неловкости, ведь бугорок этот оказался как раз у меня между коленками, если не сказать между ногами. Но ей было хоть бы что!

– Видишь? – спросила она.

Я мотнул головой.

– А темповые – это когда надо спрыгнуть на арену, пробежать несколько шагов вровень с Воликом, а он хитрый, все глазом назад косится, поспеваю ли я, и раз!.. Прыжок. И два!.. Ты в седле.

– Брось...

– Хоть брось, хоть подними, а так.

И я понял, что так оно и есть. Я ей жутко завидовал. И тогда во мне забурило желание ее тоже чем-то удивить.

– А вот я могу очень быстро бегать. Одна девочка сказала, что я бегу, как стрела, выпущенная из лука.

– А может, она и не быстро летит? Откуда эта девочка знает, как летают стрелы? Что она, видела, да?

– Да ты что? Стрелу можно даже не видеть, а знать. И все!

– И вовсе не все.

– А кроме того, я могу пролезать сквозь крокетную дужку. – Я решил снять тему и выложил свой главный козырь.

– Ну и врешь! – она от ярости даже запыхтела, до того возненавидела ту девочку, что сравнила меня со стрелой, выпущенной из лука. – Болтушка она.

– Ну и не вру! Спорим, что не вру.

– А на что?

– На что хочешь. Хоть на американку.

– Давай! Только без поцелуев.

– Я вообще не терплю целоваться, – сказал я, вспомнив, как меня однажды поцеловала какими-то мокрыми губами одна тетка. И я целый день потом отплеиваться не мог, все время чувствовал во рту чужие слюни.

– А я очень люблю и всегда целуюсь. А ты дурак!

– С кем это?

– С кем хочешь, хоть с Воликом.

– С лошадкой? – я вдруг представил себе такой поцелуй и был очень огорчен ее признанием.

– А что? Знаешь, какой у него нос бархатный-бархатный?.. Прямо между ноздрями и чмок!

– Не поверю! – у меня по отношению к ней вдруг стало возникать какое-то ревнивое чувство, комплекс какой-то, как теперь говорят. И мне стало неприятно, что ее рука продолжала держаться за эту самую луку и лежать на моем бедре. Я с неприязнью пошевелил ногой.

– Не дергайся, сиди спокойно, – сказала она строго. – А то еще жиндарахнешься, того гляди. Отвечай за тебя.,

– А с тебя никто и не спросит, – сказал я тоже строго. – Дед, наверное, даже рад будет.

– Он что, зверь? – в ее голосе звучало теперь сочувствие ко мне, которого желает погубить собственный дед.

– Нет, он в общем-то не очень злой, только вспльщивый. Что не по нем – сразу приходит в ярость.

– Это очень опасно, – серьезно сказала Ёлочка. – У нас

такой конь был вспыльчивый. Он готов был всех зубами разорвать в клочья, если что-нибудь против его нрава сделают. Вот папочка и отдал его татарам.

– Просто так? – мне стало жалко коня, хоть и кусачего.
– Моя няня говорит, что татары крадут маленьких детей и учат их просить милостыню и кричать: «Арьё – берем!.. Берем – арьё!» А он просто так отдал и все?

– Нет. Это же плохая примета, просто так отдавать. Сборов не будет.

– Каких сборов?

– Денег. Публика ходить не будет.

– Куда?

Она изогнулась, вытянула шею и поглядела мне в лицо, проверяя, не валяю ли я дурака?

– В цирк. А куда же еще?

Я и вправду почувствовал себя идиотом и произнес, окончательно смутившись:

– А что, не ходят?

– На нас всегда аншлаг, – сказала она очень важно.

– Что на вас?

– Аншлаг, это когда все билеты проданы.

– На вас?

– А то на кого же.

– А это как?

– Что как? – она постепенно приходила в неистовство от моей тупости.

– Что значит билеты на вас? И на тебе?

Я понимал, что окончательно увязаю в этом болоте, но уже не мог остановиться. Да и она, пожалуй, тоже.

– Что на мне?

– Ну, эти самые... Билеты. Что они, на тебе приклеены, что ли? Их прямо отдирают и продают? Да?

– Знаешь, – сказала девочка, – слезай-ка ты с коня. Ну тебя!

Я прямо остолбенел от обиды, потом завозил на седле, соображая, с какой стороны будет легче сползти. Обида была ужасная и, как мне показалось, незаслуженная. Ну, что я в конце концов, обязан знать, что у них там, в их дурацком цирке, сперва приклеивают на кого-то билеты, а потом уж их продают?

– Ладно, сиди! – и вдруг захохотала. – Это что, реприза, да? Для коверного, да?

Я промолчал и, горько вздохнув, продолжал пытаться слезть на землю. Но лошадь переходила с рыси на шаг, седло поднималось и опускалось неравномерно, и я не мог отпустить эту самую луку, или как она там у них называется... Чтобы не свалиться, я вцепился в нее, как в ту доску, коленки мои упирались в твердое седло, а корявые занозы, впившиеся в меня там, наверху, терлись о скользкую кожу и загонялись все глубже и глубже, хоть криком кричи. Но я лишь сопел, сопел и молчал, проявляя и гордость свою, и мужской характер.

– Ладно, наплевать, – сказала девочка. – И не елозь, сиди как сидел.

И я снова почувствовал, что ее коленки стали сжимать меня с боков. Это было знаком прощения, выражением вновь наступившего мира.

Мы уже почти доехали до поворота на станцию Раздоры, но тут нам навстречу попалась старая монахиня из женского монастыря. Я узнал ее, она ходила к моей няне пить чай с вареньем. Она, хоть и в очках, толстых, как аквариумы, узнала меня и перекрестила, прихватив крестным знаменем и чудную, золотую девочку. Потом няня мне рассказала, что матушка ей сказала, будто я ехал на лошади верхом с прелестным ангелом за спиной... Но Иоланте эта встреча не понравилась. Она дернула повод и дала коню шпоры.

– Тьфу-тьфу, – сплюнула она. – Это все равно, что поп навстречу... К неудаче...

– Это не у тебя, это у меня неудача будет. Представляешь, что дед со мной сделает, когда матушка Евгения нажалуется.

– Ладно, что будет, то будет. Заранее травить – трюка не сделаешь.

Лесная тропка постепенно переходила в проезжую дорогу, втекающую в проулок, в который выходила и наша дача. Вот уже виднеется призма из досок, с которой все и началось.

– Чшш, стой, Волик.

Девочка перекинула узду через мою голову и легко, словно вспорхнув, поднялась в воздух и плавно опустилась на травку. Взметнувшаяся на миг юбочка приоткрыла ее

золотые трусики. Вся она была золотая!.. Она протянула мне руки, я схватился за ее твердые ладони, зажмурился и, словно куль, бухнулся вниз. Острая боль от заноз в коленках пронзила меня, и я даже на корточки присел.

– Ой, – сказала она, – гляди, какие у тебя бревна торчат!.. А ты, оказывается, терпеть можешь. Вот уж не думала. Давай вытащу.

Ну как после таких слов не дать ей вытащить какие-то паршивые занозы?

Тащи, а я тебе покажу, как терпеть. Я сел на землю. Она попробовала вцепиться ноготками в выступающий кончик. Но заноза не поддавалась, хоть она и дергала ее будь здоров как. Я исправно терпел, даже вспотел и стал мокрым, как мышь.

– Хорошо, – сказала девочка.

– Чего же хорошего, – сказал я.

– Придется тянуть зубами.

Она стала на колени, повернула свою жокейскую шапочку козырьком назад, склонилась над моей изодранной ранкой, и ее упавшие локоны чудно защекотали мою ногу, вцепилась зубами в занозу, и это было ужасно, если бы я не почувствовал прикосновение к моей коже ее теплых губ.

– М-м? – спросила она меня.

– Мг-м, – ответил я, изо всех сил стараясь вести себя мужественно.

Тут она как рванет. А я как заору...

– Что орешь? Что орешь как зарезанный, негодяй! – раздался дедов голос. И он сам выскочил из нашей калитки, размахивая палкой.

Если не знать его характер, то дед мой со стороны выглядел вполне милым человеком. Всегда гладко выбритый, причесанный с идеальным пробором, в элегантной толстовке из сурового полотна, как тогда носили в летнее время почтенные господа, знающие себе цену. Даже трость у него была кизиловая, какую не часто встретишь, откуда-то с Кавказа, с набалдашником из серебра с чернью. Но стоило чему-нибудь случиться не по нему, как он разом оборачивался нечистой силой, и мне казалось, что его глаза наливаются кровью, гневный хрип булькает в глотке и трость превращается в орудие пытки. Правда, этой палкой он меня никогда не охаживал, но кто знает, что ему могло

сегодня влететь в голову. Тем более, что картина, представшая перед его взором, как я потом сам представил ее себе, была мало сказать незаурядная: оседланный прекрасный вороной конь гордо, не страшась палки, глядел на него. Его внук, то есть я, валялся возле конских копыт, а прелестная золотая девочка с волосами, рассыпанными по плечам, стояла на коленках и по-вурдалачьи грызла – так должно было казаться деду – ногу валяющемуся навзничь мальчику, побелевшему от усилий не кричать...

– Что же это такое, – начал дед умеренным тоном. – Я с неподобающей резвостью бегаю по деревне в поисках этого подлеца... – Тут он сделал паузу, видно, решая, предать ли меня анафеме или помиловать. Видимо, решил предать, потому что продолжал голосом, набиравшим наигнуснейшую силу: – Да-да, именно подлеца, публично занимающегося чем-то необъяснимым... Да-да, именно публично, белым днем...

Я только горько вздыхал, стараясь изобразить на своем лице самое покаянное выражение. Но тут моя золотая, воистину золотая подружка яростно, словно рассвирепевшая бульдожка, кинулась на мою защиту.

– Что вы такое говорите? – подняла она на деда свои желтые, бесстрашные глаза. – Как вы можете, в присутствии незнакомой девочки, говорить разные грубости? Чем он виноват, что занозил ногу ужасными занозами? И вместо того, чтобы пожалеть его, вы, как клоун на манеже, грозите ему палкой и готовы растоптать бедного мальчика. Нет, вы ему не родной дед. Вы ему Бог знает кто... Вы ему чужой злодей, извините меня, вот вы кто... Лежи спокойно, – это уже относилось ко мне. – Я дотащу... – И она снова склонилась к моей коленке, защекотав ее локонами, и прикоснулась к коже своими теплыми губами... И мне уже ничего не было страшно! Уж если она, девчонка, на него так, то я уж могу о-го-го как!

Дед сник, вернее сказать, он, видимо, испытал жгучий стыд. Он просто смешался, мой грозный дед, повернулся к нам спиной и, ни слова не говоря, пошел по дороге к станции, будто ничего и не произошло. Тут, ошалело вертя головой во все стороны, выскочил из-за забора наш ирландский сеттер Кадо и, догнав деда, стал победительно виться возле него. И ситуация сразу приняла привычные неагрес-

сивные очертания: дед с Кадошкой идут на станцию за газетами, а может быть, встречать мою маму. Кругом чирикают птички, мир и благодать...

Но тут свет померк в моих глазах. Взлетели вверх локоны девочки – она дернула головой, и в ее стиснутых зубах, окруженных кровавыми губами, на свет появилась злополучная заноза... А может быть, мне следовало бы благословлять ее появление?..

Потом все случилось, как теперь говорят, одномоментно. Вдруг она заторопилась, оправила складочки своего платьица, отряхнула пыль с коленок, чесанула пятерней растрепавшиеся волосы и вскочила в седло.

– Ауф видер зеен! – крикнула она мне. – Прощай, Фунтик! – и не успел я обидеться на такое безнадежное «прощай», как она весело добавила: – До встречи!..

И умчалась, подняв клубы знаменитой барвихинской пыли.

Тут можно было бы и закончить этот рассказ. Хотя, может быть, стоит добавить, что мы еще много раз виделись в это лето, купались в Москве-реке, а потом встречались и зимой. Она пригласила меня в цирк, и я видел вольтижировку... Но это отдельная история... А однажды я был у них на елке на Рождество, и тогда... Но это тоже отдельная история... Окончить нужно было бы, пожалуй, вот чем: через день-другой к моему деду заявился не кто иной, как сам знаменитый папа Труцци. Он был одет торжественно, да, впрочем, он всегда одевался торжественно. О чем они говорили, я не знаю, но догадаться нетрудно, потому что они позвали меня, и дед сказал:

– Вильямс Иванович хочет увидеть, как ты, болван, пролезаешь сквозь крокетную дужку. Видишь, какая о тебе идет тут молва.

– Да, молодой человек, пожалуйста, – добавил Труцци, – мне это весьма интересно.

Я чуть не сошел с ума. Ведь с прошлого лета я не подходил к крокетным дужкам...

Я вогнал эту самую дужку в землю чуть-чуть, чтобы она только не падала, стал на коленки – ой, как заболело то место, где была заноза, – потом улегся на живот, протянул вперед руки, как делал это в прошлом году, и пополз, извиваясь, как гадюка... Но, как вы догадываетесь, ничего

не вышло. Я зацепился плечами за проволочные воротца и повалил их. Второй и третий раз тоже успеха не принесли.

– Ясно, – сказал Трущи, – филен данк. – И откланялся.

– Ну, слава Богу, – сказал дед. – Уж очень мне не хотелось отказывать этому почтенному господину. Не хватало еще, чтобы в нашей семье появился циркач. Хотя, чего от тебя ждать.

Тут, как говорится, слезы брызнули из моих глаз. Я был абсолютно несчастен и рыдал три часа кряду, не меньше.

Рыдал оттого, что, наверное, вырос.



Рисунок В. ГОЛУБЕВА

ИМПЕРИЯ ЧУВСТВ

«Алкоголь относят к пищевым продуктам, его потребление связано с вкусовыми качествами, хранение алкоголя в домашних условиях и потребление в быту не противоречит закону. Законом не устанавливаются также нормы потребления алкоголя»

Г.В. Морозов

1. ЗАЧЕМ ВООБЩЕ ПИТЬ

Один мой знакомый туповатый алкоголик после долгих размышлений объяснил: выпьешь – пьяный будешь; не выпьешь – трезвый, как дурак, останешься. Инопланетянин понял бы это заявление в том смысле, что трезвым быть плохо, во всяком случае, глупо, а пьяным – хорошо. (Умный алкоголик так не считает. Самое распространенное алкогольное мироощущение сводится к следующему силлогизму:

1 посылка: Плохо быть трезвым.

2 посылка: Плохо быть пьяным.

Вывод: Плохо жить на свете).

Если мы отбросим второстепенные соображения вроде того, что водку пьют ради ее высоких вкусовых качеств, то все равно окажемся перед запутанной конструкцией со многими измерениями. Пьют люди, как поясняет известный

романс, «от радости и скуки», то есть пьют, чтобы закрепить эффект всякой эмоции: радостный восхищается своей радостью, злой – своей злостью; пьют в надежде изменить свою эмоцию, развеять скуку и тугу-печаль. Пьют, чтобы порадоваться себе: умный восхищается своим умом, тупой наслаждается своей тупостью. Пьют, чтобы изменить свои границы, выйти за пределы себя, для храбрости в общении с дамами и для выхода в астрал. Пьют, чтобы забыть или заснуть, чтобы вспомнить или взбодриться тоже следует выпить. Пьют, потому что так повелось и потому, что вино налито – его нужно выпить. Потому что надо пить, и все тут!

Зачем надо пить – и не нужно особенно доказывать, об этом достаточно говорится в художественной литературе. Вот примеры наугад:

«Ты понял, что жизнь – дерьмо!
Смейся и веселись.
На каждом шагу – вино.
Не мучай себя – нажрись...»

(Группа «ДК»)

«Я самый плохой, я хуже тебя,
Я самый ненужный, я гадость, я дрянь –
Зато я умею летать!»

(группа «Звуки Му»)

Расширяющуюся бесконечность причин пьянства, растерянность спутанного сознания человека перед ними прекрасно передает емкое двустишие Артема Троицкого:

«Зеленый змий – что еростат.
Одну голову отрубил – две вырастат!»

Вот так надо писать про алкоголизм – коротко и мрачно.

2. ВОТ ЧТО ГОВОРИТ НАУКА

Можно говорить о жизни, смерти, любви или похмелье с эстетической точки зрения, этической, религиозной; свою точку зрения на эти события имеет наука, и даже на сухой взгляд науки потребление алкоголя представляется довольно напряженным и волнующим занятием.

Наука говорит нам, что удовлетворяемое обсессивное, компульсивное, пароксизмальное и, наконец, генерализо-

ванное влечение к алкоголю рано или поздно приведет к появлению гастроинтестинальных, психомоторных, кардиоваскулярных, вегетативных, психопатологических и многих других расстройств, полный список которых включает в себя все известные человечеству неприятности. Смело можно упоминать любое нарушение нормальной работы любого органа, от запора и отрыжки до гиперактурии и поливокального галлюциноза – все это симптомы похмелья.

Эту безрадостную картину венчает необратимая психическая деградация личности, социальные последствия выражаются в неспособности исполнять ни семейные, ни производственные, ни иные обязанности. Наконец, смерть от многочисленных соматических последствий избавляет мученика от страданий.

Резюме всей обширной научной литературы на эту тему: будешь пить – сопьешься.

Да, так может кончиться влечение к алкоголю. Но так может кончиться любое сильное чувство. Любовь, например, тоже может так кончиться.

3. СИНДРОМ ЛИШЕНИЯ

Общественное мнение, однако, куда более терпимо к тем же влюбленным, чем к алкоголикам. Ведь один умирает от неразделенной любви к Лауре – а другой водку трескает. Водку, мол, любой трескать умеет.

В кинофильме «Пьянь» есть такой эпизод. Поклонница-журналистка говорит поэту Микки Рурку: Что ты пьешь-то непрерывно? Садись, пиши! Пить-то всякий может!

А Микки Рурк ей: Да нет, мать твою! Это не пить – всякий может!!! А пить – нет, не всякий!!!

Любой человек, послушав про муки похмелья, может сказать: и я выпивал, и у меня бывало похмелье, и ничего страшного в этом нет. В немецком языке похмелье обозначается уничижительным словом «Katzenjammer» – кошачье горе. То есть вот так горе: кошачье... (Однобоковую информацию о похмельи дает и французское название «geule de bois» – деревянное рыло.) Но ученые обозначают похмелье, абстиненцию термином «Withdrawal syndrom», синдром ли-

шения. Вот это настоящее название. В нем слышно дрожание рока.

Что такое синдром лишения приблизительно понимает каждый. Кто не лишился важных для него вещей? И ребенок терял игрушку, у него отбирали книжку перед сном, не давали досмотреть мультфильм, кончались летние каникулы – все это маленькие синдромы лишения.

Очень страшен синдром лишения свободы, еще хуже синдром лишения любви. Но синдром лишения алкоголя – когда алкоголь сделался необходимым для жизнеобеспечения организма – более серьезен.

Помнится, в школьных сочинениях по литературе использовался такой описательный штамп: X персонаж отрицательный, но способен на глубокое чувство (то есть все же хороший). Глубокое чувство – обычно разумеется любовь, голос рода. Но голос биохимии, алкоголизм – куда громче в человеке; вот где настоящая «империя чувств»! Достаточно примелькался персонаж погибающий от синдрома лишения любви, он высок и вызывает уважение (обозначение любви, как высокой болезни – не метафора, всякий синдром лишения – болезнь).

Один умирает от неразделенной любви к Лауре.

Другой водку трескает.

Почтим их обоих минутой молчания.

4. ПЬЯНСТВО И ЛЮБОВЬ

Я буду настаивать именно на этой аналогии, чтобы читатель помнил о серьезности затронутой темы.

И влюбленность, и любовь, и синдром лишения любви доступны даже животным. «Но человек, – говорит Честертон, – несравним с животным. Он и выше и ниже животного. Животному недоступна ни такая радость, как выпивка, ни такая мерзость, как пьянство». Я бы добавил третью ипостась алкоголя: ни такое счастье и ужас в одной точке, как алкоголизм.

Но у любви между подобными тремя ипостасями – радости влюбленности, мерзости беспорядочной похоти и ужаса синдрома лишения – есть большое центральное поле

хорошей, настоящей любви и нет такой области в сфере алкоголя.

Если эйфория влюбленности без всякого ужаса может перейти в хорошую, настоящую любовь, то эйфория выпивок, если переходит во что-то, то это в самый свирепый ужас.

Смертельно влюбленный со своим синдромом лишения не так безжалостно несчастен, как алкоголик. Если первый знает, что с ним случилось, то второй, как истязуемое животное, часто даже не понимает – что происходит?

Да смертельно влюбленный и горя не знает! Хотел бы я посмотреть, как он почувствует себя, если общество станет относиться к нему с такой брезгливостью, как к алкоголику. Настоящий мученик даже лишен права так называться.

Много нам известно про величие и кошмары любви, иные люди, коснувшиеся этого, делаются неприятно разговорчивы.

Но мало кто из увидевших нестерпимое сияние и ужас алкоголизма поведает об этом: они все умерли, ослепли, сошли с ума.

5. ВОТ ТАК ЭЙФОРΙΑ

В предыдущих абзацах столько раз повторяется слово «ужас», что возникает вопрос: зачем? Зачем это надо? Получает ли алкоголик хотя бы эйфорию от своей губительной страсти?

Древнегреческие мыслители говорили: учиться философии – значит учиться умирать. Запою я бы дал то же самое определение – умирать.

Состояние запоя далеко от эйфории. Это больше напоминает то, как если бы с праздника жизни тебя выкинули где-то этажа с пятого спиной оземь. Однако желанного оупения и оглушенности нет, напротив, каждая клеточка плоти, нервов и души подвешена на крючке в своем кругу ада.

Но зачем-то это надо; более того, складывается впечатление, что алкоголик именно принял решение: пить запоем. Нелегкое решение.

6. А СЧАСТЬЕ НЕ БЫВАЕТ ЛЕГКИМ

Ни с чем не сравнимо чувство утреннего ошупывания себя. Сперва выяснить одно: живой или нет (более глубокие мысли, вернее – мысль, появится потом). Легкие хрипят: дышать могу. Руки? Шевелятся. Ноги? Дрожат: на месте. Голова медленно поднимается от подушки. Сквозь веки прорезается, режет свет. Значит?.. Значит, я еще могу выпить.

Иные люди предпочитают быть именно запойными пьяницами. Смысл запоя в стремительности взлетов, в несравненном (но нелегком) счастье опохмеления, а оно из таких запредельных состояний, что человек совершенно теряет человеческий облик. Только что он пребывал в ужасном несчастье, и вот стакан, минута ожидания – и свободное парение в чистом свете. Естественно, что хочется вновь и вновь испытать это – запойный пьяница выбирает не хождение по поверхности земли, а взлет из магм ада в подвал. Алкоголь для него не роскошь, а средство передвижения вверх и вниз.

7. С УТРА ВЫПИЛ – ВЕСЬ ДЕНЬ СВОБОДЕН

От постоянной необходимости обороны можно ослабеть настолько, что не имеешь более сил обороняться. Ницше писал: «Предположим, я выхожу из своего дома и нахожу перед собой вместо спокойного аристократического Турина немецкий городишко: мой инстинкт (самосохранения – В.Ш.) должен был бы насторожиться, чтобы отстранить все, что хлынуло бы на него из этого плоского и трусливого мира... Разве не пришлось бы мне обратиться в ежа?»

Как мало сил чувствительного человека уходит на жизнь и творчество – все на оборону; не развивать себя, а хотя бы сохранить, чтобы иметь возможность исполнить свою судьбу.

Конечно, советуют быть сильнее и выше мелочей – это иметь носорожью шкуру, что ли? Ее не прокусят комары, но под такой шкурой вырастет только носорог.

Читатель уже догадается, что есть железный занавес, при котором не страшно все происходящее извне – ни

комариные укусы, ни немецкие городишки, ни детский плач, ни поездки в метро, ни жуткие лампы дневного света в ночной котельной... пьянство! – вот тотальная оборона. Ведь когда пьешь – нет необходимости исполнять судьбу, и обороняться, значит, нет нужды. Да и оборонять нечего.

8. КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ

Есть категорический императив: необходимость исполнить свою судьбу. Судьба эта может быть совсем нехитрая, когда и беспокоиться особенно не о чем, бывает невероятно сложная, со многими равновеликими целями. Настоящее удовлетворение от жизни человек получает только тогда, когда чувствует, что его судьба исполняется – пусть ценой любых жертв, хоть ценой жизни.

Исполняет ли алкоголик свою судьбу? Еще как! Во время запоя все цели в жизни заслоняются, а затем и замещаются одной: выпить.

Ну разве не высшее удовлетворение получает человек, когда цель жизни вновь и вновь (пока не кончатся деньги и здоровье) достигается самым убедительным образом!

9. ЧЕГО ВЫ ХОТИТЕ ОТ БОЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА?

Маловероятно, что родные и близкие алкоголика удовлетворятся таким объяснением запоя: пью и буду пить, потому что таков категорический императив! В ответ на такое объяснение могут и санитаров вызвать.

Хороший, культурный алкоголик преодолел плебейскую черту – анагнозию (отрицание болезни), может без труда осадить надоедливых родственников и посмеяться над их малограмотным призывом «хватит пьянствовать!»

Он может сообщить им следующее: в организме каждого человека, даже грудного ребенка, постоянно циркулируют 20 грамм чистого алкоголя (эндогенного, то есть произведенного самим организмом для окислительных процессов и т.д.). Его точное количество слегка варьируется, что заметно по темпераменту отдельного человека и даже целого народа, например, у грузин или басков эндогенного алко-

ля чуть больше, а у пасмурных скандинавских народов – меньше. Жадный организм пьяницы может начать усваивать и этот эндогенный алкоголь; если его остается 15 грамм – страстно хочется выпить. При 10 граммах человек и на преступление пойдет, чтобы добрать до объективного необходимого организму 20 грамм. Добрав, он, понятное дело, не останавливается на достигнутом, а начинает запой.

Можно, конечно, посоветовать получше питаться, особенно овощами и фруктами, из которых в основном и выработывается эндогенный алкоголь, но свирепы все пути-выходы алкоголика, и относительно питания он объяснит вот что: получше питаться не просто бесполезно, но и вредно. Пища во время запоя не усваивается, а лежит в желудке, разлагаясь как труп. Алкоголь хоть и яд, но высококалорийный продукт, совершенно лишенный, однако, микроэлементов, витаминов, гормонов и многих необходимых компонентов – чистая энергия, которую организм должен переработать в первую очередь. Доля алкоголя в пищевом рационе некоторых людей может достигать до ста процентов. И что же будет, если алкоголик бросает пить? Его организм не переваривает полноценную пищу, а ждет привычного источника энергии – алкоголя. Но алкоголя не поступает. И начинается истощение.

10. ВЫХОД ИЗ ЗАПОЯ

Похмелье – стальная удавка, и не на шее, а на душе и сердце. Отсюда известная «хитрость алкоголика» – станешь хитрым, когда за жизнь цепляешься! Однако, если не хочешь, чтобы данный запой оказался последним в твоей жизни – надо когда-нибудь отбрасывать хитрость и прекращать пить. Как выйти из запоя?

Ангел-хранитель и природа снисходительны к некоторым алкоголикам – у них развивается так называемый аверсионный синдром, когда опохмеление становится вообще невозможным из-за рвоты после любого количества алкоголя. Однако человек и тут умеет не ждать, пока природа смилостивится: в последнее время появилось немало кооперативов, занимающихся научным выведением из запоя, а на деле снимающих аверсионный синдром и дающих запой

новый энергичный толчок. Алкоголик, который не мог уже и до туалета добраться от слабости, вызывает за несколько сотен или тысяч рублей кооператоров-отрезвителей, и, полежав под капельницей, бодро бежит в магазин за водкой.

Думается, что едва ли не единственным вполне надежным средством выхода из запоя является баллончик нервно-паралитического газа. Проснувшись с лютого похмелья, больному следует пшикнуть на себя газом и отрубиться на несколько часов, что полностью исключает опохмеление. Если после прихода в сознание похмелье не исчезло, следует вторично пшикнуть. Эту процедуру можно повторять до тех пор, пока газ в баллончике не кончится, постепенно перейдя в состояние трезвости. (Примечание: определив методом проб и ошибок смертельную для себя дозу, следует стараться не достигать ее).

На такую страшную тему, как выход из запоя, остается только шутить – ведь никакого способа выйти из запоя нет, каждый раз помогает только какое-нибудь чудо – ну, любовь, например.

11. ЛЕЧИТЬСЯ

Многие, даже врачи, считают, что при алкоголике достаточно не пить, чтобы не провоцировать его, тогда и он пить не начнет.

То есть алкоголика принимают за идиота, который помнит про алкоголь только когда его видит. И почти единственный принятый способ лечения от алкоголизма тоже не очень уважителен к личности – это простое запугивание смертью. Имплантация препарата «эспераль», непонятное «кодирование», любые другие виды запугивания нисколько не излечивают от алкоголизма, даже не избавляют от соматических и неврологических последствий предыдущего запоя, а делают пьянство на некоторое время невозможным. Что ж, хорошо, если хоть это действует. Многие алкоголики из детского любопытства вскоре начинают испытывать: а хорошо ли действует подшивка, кодирование и т.д. Если действует хорошо – экспериментатор погибает через несколько минут, если плохо – начинает запой.

А сильному и смелому запугивание не помеха: он еще в больнице узнал от товарищей, как нейтрализовать любую разновидность запугивания.

Почти все запугиваемые воспринимают это как отсидку в тюрьме: вот выйдет срок действия и загуляю. При некоторых видах кодирования срок, когда можно начинать следующий запой, известен до минуты! Ну, а раз можно...

Кроме того, эспераль и кодирование должны ощущаться как инородное тело внутри организма, как чужая воля поверх своей – и это тяжело для психики. Ницше говорил, что ничто так не умножает в нас духовную силу, как преодоление искушения. Я бы не отбирал у человека возможность самостоятельно преодолевать искушение. Ведь добиться звания «непьющий алкоголик» самостоятельно – это такая заслуга, что тут уж, действительно, шапки долой, это вам не пятилетка в четыре года.

12. НЕ ПИТЬ

Трудно решиться на это, еще труднее найти врача, который не просто поможет оклематься от запоя, а расформирует алкогольный гомеостаз. И труднее всего изменить алкогольную ментальность, чтобы от «радости и скуки» хотелось не пить, а радоваться или скучать.

Массовый опрос мужчин Германии показал, что 57 процентов респондентов готовы скорее отказаться от половой жизни, чем от употребления спиртного. Смешно, зная эту цифру, возвеличивать трезвость как самоцель – здорово, мол, не пить, на хрена нам пить?

Алкоголь для многих – творчество, алкоголь – единственно «настоящее», то, что противостоит хмурой серьезности жизни. Пьянство Синявский назвал другой стороной духовности.

Не в силах отказаться от этого, даже умный алкоголик сохраняет в себе долю анагнозии. Этому помогает простое, всем ясное рассуждение: всегда есть пример того, у кого положение хуже, вот он то и есть настоящий алкоголик, ему пить нельзя, он не умеет; а я захочу, не буду пить.

Тошно и говорить про эту систему самообмана. Сколько

людей – столько и алкоголизмов, страшных и непохожих один на другой.

Представьте себе, что по видеомэгнитофону демонстрируют фильм: стол, на столе горит свеча. Это у нас будет символизировать развитие алкоголизма: пожар, все может сгореть. Человек прекращает пить – нажата кнопка «пауза», пожар не продолжается – но на экране та же грозная картинка. Человек может держаться и не пить долго, но стоит начать – включить «воспроизведение» – и пожар вспыхнет с того же самого места.

Мало нажать «паузу». Мало нажать даже «стоп». Нужно подумать, как включить перемотку назад.

Июль 1992



НА ПУТИ К «АРТИСТИЧЕСКОМУ»

Мифология диссидентской кухни, с грязной посудой в раковине и перемыванием косточек членов Политбюро вокруг кухонного стола – уже давно общее место в славистике всех времен и народов. Однако параллельно кухонному быту российского духа, в Москве 60-х – 70-х годов проходила не менее загадочная по своей нелепости жизнь изгоев иного рода – завсегдатаев кафе, заведений с грязнотцой, столовок и всяческих забегаловок. Эта жизнь, нигде, кроме, пожалуй, анналов Лубянки, не зафиксированная, сохранилась, по сути дела, лишь в устном фольклоре и в нем же и захирела. Кухня той эпохи была манифестацией гражданской совести. Кафе – поиском нового языка. Открывая дверь кафе, участники кофейной жизни сознательно говорили гуд-бай всему советскому, выпадали из истории советской страны. Во всяком случае так, по крайней мере, им казалось. История советской страны их, в свою очередь, проигнорировала. История мстит тому, кто не желает иметь с ней ничего общего.

Инакомыслящая Москва для меня в ту эпоху делилась на две антагонистических группировки. Это, во-первых, собеседники на кухне московской квартиры, скажем, преподавателя русской литературы, поэта и переводчика Юрия Айхенвальда, и собеседники за столиком кафе «Артистическое» – преподавателя иностранных языков, переводчика и прозаика Павла Улитина. Апологет кухонной исповеди, человек с острым чувством истории, поэт Юрий Айхен-

вальд кафе не любил, и если и появлялся в «Артистическом», то исключительно по необходимости: чтобы увидеться, скажем, с тем же Улитиним. Свое отталкивание от кофейной жизни он объяснял соображениями безопасности: «Они вот трепятся, трепятся, а там стукачи, то ли официанты, то ли швейцар. Про швейцара прямо ходили слухи, что это переодетый гебешник». Но суть дела и состояла в том, что в отличие от предыдущей эпохи, люди действительно сидели и трепались: потому что скрывать им было нечего; гебешник ли швейцар или нет, не имело ровно никакого значения с точки зрения счастливого продолжения этой кофейной жизни. Органы безопасности той эпохи хоть и оставались смертельно опасными, но уже превращались в первую очередь во внимательных слушателей, а слушатель всегда ценится в разговоре.

Там, где в России уходит страх, его место тут же занимают апокрифические байки. Айхенвальда, я думаю, и раздражала эта атмосфера фиктивности. Ведь идея кафе в Москве по сути своей – претенциозна и фальшива, поскольку раздражительна и вторична. Какое, в самом деле, замызганное заведение в полуголодной и запуганной Москве имели отношение к парижскому «празднику, который всегда с тобой»? Однако прелесть, пусть фальшивая, и заключалась в том, что завсегдатаи кафе «Артистическое» в Камергерском переулке делали вид, что они не в России, а в Европе, и что извечной российской конфронтации поэта и власти нет, а есть европейское противопоставление поэта и толпы – толпы тех, кто не посещает подобные заведения для избранных, а сидит у себя на кухне и громким голосом пророчествует о необходимости митинга гласности молчанием. (Был такой, действительно, митинг по инициативе Алика Есенина-Вольпина: надо было прийти на Пушкинскую площадь, снять шапку и молчать; молчание тут было символом протеста против ущемления свободы слова).

Для меня и моих друзей (в 60-е нам было по семнадцать) разоблачение Иосифа Виссарионовича Никитой Сергеевичем с трибуны съезда стало означать в ту эпоху лишь одно: зловеющая аббревиатура К-Г-Б стала казаться нам сплошной профанацией. Одновременно лишилась устрашающего

ореола и идея политической организации как таковой. Кошунственным отношением к секретничанью – бытовавшему и в диссидентских кругах и в органах госбезопасности – и можно объяснить макабрическую идею создания «Конгрегации Св. Анны». Я имел честь принадлежать к этому тайному обществу подростков. Члены Конгрегации назывались *ситуайенами*, а возглавлял Конгрегацию *Совет Вечных*, под председательством Рех'а (им был соцартист Александр Меламид, который тогда еще не был соцартистом). Нужно сказать, что четыре члена Совета Вечных и были, фактически, единственными и неизменными ситуайенами Конгрегации, чьи цели (как, впрочем, и название) были и остаются для всех нас до сих пор полнейшей загадкой. Импульс, я думаю, был все тот же – внутренняя эмиграция, попытка отделиться как от органов госбезопасности, так и от диссидентской кружковщины. Мы издавали свои официальные указы на фиктивной гербовой бумаге и производили на свет свой самиздат.

Богохульство немислимо без апокрифов и фальшивок. В архивах Конгрегации (частично уничтоженных) историк обнаружит, скажем, сочинения Аделины Федорчук. Родом из Перми, комсомольский воробышек со сломанными крыльями, она отправилась на сибирскую стройку по призыву Партии и Правительства, где и погибла, когда над ней раскрылся ковш шагающего экскаватора, полный родной почвы. От нее остался тоненький сборничек авангардистской поэзии, перехлестнувшей, естественно, революционностью своего формотворчества самого Хлебникова, с пророческими, как сейчас помню, строками: «Пермь – это Рим мира, все дороги ведут в Пермь». С намеком, естественно, на Пермские лагеря. Для подобных поэтических чтений мы собирались в шикарнейшей квартире родителей Меламида (известных переводчиков с немецкого) с антикварной мебелью и с редким по тем временам чудом техники – магнитофоном. Магнитофон воспроизводил звук. Можно было сделать копию звука с одной ленты на другую. Это была свобода. Свобода и была издаванием звука. Этот феномен породил Окуджаву. (Если в доме голос Окуджавы – значит, в доме есть магнитофон.) Пример был настолько заразителным, что Конгрегация решила произвести на свет сво-

его «Окуджаву», в духе интеллигентских клише о романтическом барде, московском бродяге-менестреле с гитарой, и с репертуаром из гимнов туманам и дорогам, кострам и каравеллам, цыганам и пиратам, белой головке и черным глазам. Репертуар был сочинен ситуайенами Конгрегации за неделю, а роль барда выпало исполнять мне, поскольку я знал четыре аккорда на семиструнной гитаре. Бард был запущен в московские круги. Так на меня и вышел театральный критик Четверган. Четверган тут же угадал богохульственную издевку над интеллигентскими святынями той поры и предложил мне выступление в салоне поэта Айхенвальда, где я и увидел впервые Улитина. Это история о том, как я предал Конгрегацию.

История отношений с Улитиним поразительна той интенсивностью, с какой старые счеты полувековой давности в кругу людей чужого поколения и опыта могут восприниматься впечатлительным подростком лично на свой счет. Один из секретов завораживающей силы этих чужих разговоров в том, что главные собеседники говорили об одном, а подразумевали другое. Это и есть зарождение романа. Стилистика скрытого сюжета, как говорил Улитин. Эту стилистику скрытого сюжета я и попытаюсь вам продемонстрировать. Я, возможно, не понимал скрытых ходов их разговора, но прошлое улитинского окружения становилось для меня интригующей литературой, потому что они сумели найти для опостылевшего всем мертвого и жуткого прошлого иной язык – язык, отгенивший мое настоящее той поры. Опыт, вдвойне интригующий меня именно сейчас, когда страна, которую я покинул, весь тот советский миф, что и был нашей романтической душой, приказал долго жить и поставил на самом себе крест (вместо пятиконечной звезды). И мне нужно отыскать иной язык собственному прошлому: иначе его скоро будет не с кем делить.

Для Улитина, с его многоязычностью, с его практически родным английским, или для театрала Четвергана, с его итальянским, кафе было внутренней эмиграцией: воображаемым пребыванием в Лондоне, Париже, Риме. Для меня, безграмотного подростка, их разговоры звучали на некоем экзотическом, иностранном в полном смысле слова языке.

Это были имена и события, о которых я никогда не слышал. В этом смысле эмиграция для меня была возвращением к оригиналу – ко всему тому, что мелькало в разговорах с Улитиним. Эмиграция и есть вторичное впадение в подростковость, когда ты окружен чужим иностранным языком «взрослых», ты не знаешь кучу слов, но обязан говорить на этом новом языке, потому что другого уже не предвидится. И даже корявость моего нынешнего полузабытого русского – повтор, воспоминание этой вот моей подростковой бессловесности.

Я жил за углом от «Артистического», в Копьевском переулке, ходил в кафе завтракать, и успел застать и мраморные столики, и легендарные блинчики с мясом из меню. Но легендарные фигуры уже эмигрировали в какие-то другие московские заведения. Почему же Четверган перестал ходить в кафе «Артистическое»? В какой такой момент ему осточертело проводить дни в перебранке с друзьями, и он сменил просиживание за столиком на короткие перебежки от одной кофейной чашки до другой за прилавком забегаловок и магазинов? Может быть, это произошло именно тогда, когда кафе перестало быть иностранной державой в сердце нашей советской родины, поскольку границы этой державы стали распространяться на любой прилавок с кофейной машиной – от «Праги» до гостиницы «Москва»? Кофе-эспрессо было тогда в Москве внове, любителей горького жгучего напитка было немного, и магазины были завалены дешевыми кофеварками восточноевропейского производства: любимый предмет Четвергана в качестве подарка друзьям ко дню рождения. Кофеварка была таким же революционным нововведением в московской цивилизации, как и изобретение колеса в цивилизации западной. Кофеварка сыграла и революционную роль в моих отношениях с Четверганом.

Мои окна выходили на Театральную площадь, и за Аполлоновыми конями на крыше Большого можно было углядеть крыши Неглинной, где, по соседству с кафе «Арарат», и размещался магазин «Чай». Российский человек не удивится, если книги начнут продавать в магазине с вывеской «Обувь». Никто не удивился, когда в магазине «Чай» уста-

новили одну из первых в Москве кофейных машин-экспрессо. Четверган, перестав появляться в кафе «Артистическое», выбрал магазин «Чай» в качестве места своего утреннего кофепития (его утро могло совпадать и с тем, что у других называлось *файв-о-клок*: утро было тогда, когда он выбирался из дому). Когда продавщица магазина «Чай» надоедало готовить кофе из машины, она вешала над кофейным прилавком табличку «Закрыто на ремонт», и Четверган оставался без кофе. Так, по крайней мере, он излагал повод для своих послеполуденных визитов ко мне: он знал, что у меня есть кофеварка, им же и подаренная. В мой подъезд вход был со двора.

«Я надеюсь, ты отдаешь себе отчет, что живешь в доме актрисы Яблочкиной?» первым делом объяснил мне Четверган, появившись в Копьевском. «Из мемориальной доски каждый дурак может узнать, что она была великая актриса. Но мало кому известно, что когда ее квартиру ограбили подчистую, единственное, чего не тронули взломщики – ее фамильные драгоценности. А дело в том, что когда кто-то из бандитов подцепил с зеркала жемчужное ожерелье, актриса Яблочкина презрительно изогнула бровь и процедила: к чему вам эти фальшивки?! Она настолько хладнокровно отнеслась ко всем этим жемчугам и бриллиантам, как будто это была сплошная подделка, театральная бутафория и не более, что грабители поверили и не тронули ни единого камешка. Вот это и есть настоящий актерский дар: выдать истинное за фальшивое. В наше время искусство все силы тратит на то, чтобы выдать фальшивое за истинное. То есть, ложь – за правду, в то время как вся идея – это извращать истину».

«Это сказал Андрей Белый, не так ли?» решил блеснуть я цитатой, подхваченной у Улитина. «Не могу сейчас вспомнить ссылку», и я наморщил мучительно лоб. «Так или иначе – его слова: говорить ложь – в этом и есть правда».

«Правда в том, что за такие высказывания в наше время уже не полагается ссылка», отбрил мою энциклопедическую эрудицию Четверган. «Но вы должны иметь в виду, что ссылка – это двузначное слово. Главное, не кто что сказал, а кто за это был сослан. Вы должны понимать разницу между *ссылаться на* и *ссылаться за*». Так, через

тематику фальши и подделок мы перешли к тюрьме и ссылке.

«В той пристройке посреди твоего двора, – продолжал Четверган, – где сейчас железная дверь с надписью *Не прикасаться: высокое напряжение* и череп с костями для пущего устрашения, там в мое время был так называемый холодный туалет. Я туда забегал периодически, потому что все дни проводил, главным образом, на улице: шлялся по улице Горького и Тверскому бульвару инкогнито и заводил подозрительные с точки зрения моих опекунов знакомства. Опекуны, как я понимаю, приютили меня исключительно по соображениям еврейско-местечкового чувства приличия. В свой день рождения в марте я прошлялся всю ночь по улицам, чтобы опекуны не подумали, что у меня нет друзей-товарищей, с кем можно было отметить свой день рождения. Так вот, я забежал в тот холодный туалет, что был на месте высокого напряжения у тебя во дворе, а когда выходил, увидел на входной двери с другой стороны надпись мелом: *СССР Тюрьма Народов*. Про это я и рассказал своему следователю Налитухину в качестве одной из гипотез, почему меня арестовали. Все мои разговоры с ним и крутились вокруг этого вопроса: за что же меня взяли? То есть, сам факт того, что я при своей бульварной жизни оказался по ту сторону ограды, меня не удивлял. Я вообще считал, что всех приличных людей давно посадили. И потом: дело врачей. Я в принципе еврей. Так что по сути дела все как надо. Неясно, правда, по какому поводу слегка увлажнена подушка. Именно этот момент я и пытался разъяснить со следователем.

Брали меня в Кривоколенном. Там, кстати, снесли недавно как раз тот дом, из-за которого у него и было кривое колено, и теперь он больше не кривоколенный. Наша коммуналка была все той же черной слободкой (у каждого жильца – свое личное сиденье для унитаза). Моя комната – четвертая от двери. Часов в пять утра – звонок: это у них называлось – проверка паспортного режима. Пока не дошли до моей двери, я находился в полной уверенности, что это действительно проверка паспортов. Они взглянули на мой паспорт, попросили одеться и предложили следовать за ними. В суматохе я забыл про курево. Во время следст-

вия, когда был первый ларек, я потерял деньги. Когда же у меня возникли деньги, не было ларька. У меня всегда так, в принципе, с ларьками и деньгами. Пришлось стрелять сигареты у следователя. Если сунешь спичку в верхний клапан, то напор пара усиливается, и взрыв всей системы не исключен, но зато не успевает возникнуть процесс течи в соединениях. Я имею в виду твою кофеварку», добавил он, встретив мой ошарашенный взгляд. Он показал, как увеличить это самое давление пара. И кофе, якобы, получается крепче. Через мгновение кофеварка забулькала, засвистела, вот-вот взорвется, и выдала бурлящий напор кофе с пеной. Четверган, довольный, прихлебнул из чашки и продолжал:

«Следователь сигареты давал неохотно, и за каждую сигарету он требовал от меня по ответу – для протокола, в конце которого мне за все эти ответы грозил расстрел, и поэтому ответы я давал неохотно. Тем более, сигареты у него были типа как сейчас «Новость»: короткие, он их с мундштуком курил. Они обжигали губы и сушили горло. Резкий ламповый свет тоже, прямо скажем. Я не удивлялся, почему меня арестовали; но дать ясного ответа – за что? – я тоже был не в состоянии. Я лишь выдавал возможные гипотезы и намеки, а он издавал уклончивые хмыки, хотя все мои намеки и гипотезы заносил аккуратно в протокол. Например, я предположил, что надпись мелом на двери холодного сортира про тюрьму народов можно было по неведению приписать мне (поскольку надпись появилась именно тогда, когда я был в туалете), и за это меня и арестовали. Следователь записал эту гипотезу в протокол: как я в общественных туалетах под диктовку иностранных разведок записывал свои тайные мысли, клеветца на советский строй и его руководителей с целью свержения советской власти. Неправдой тут было только то, что я якобы писал это под чью-то диктовку, и хотя я и не писал мелом на двери, но мог бы, и именно эти мысли, и поэтому я следователю не возражал. Следователь в тот день был жутко доволен, угощал меня уже не «Новостью», а любимыми папиросами нашего вождя и учителя «Герцеговина-Флор», а когда я вернулся в камеру, нашел там кучу «Памира» и даже пересланные родственниками деньги. Такой был у нас интенсивный и продуктивный рабочий день.

Так мы каждый день и работали: я выдавал очередную гипотезу, он составлял черновик протокола допроса, я исправлял орфографические ошибки, советовались насчет сомнительных, с точки зрения стиля, мест, потом он переписывал все это начисто и подклеивал в общий том моего дела. На следующий день я вспоминал какой-нибудь еще факт своей биографии – из тех, что могли в принципе служить поводом для моего ареста. Следовательно вначале всегда относился к моим гипотезам скептически, но в конце концов мы находили компромиссный вариант. Например, когда меня послали на дежурство в избирательный участок, я, на вопрос одного из граждан, где тут избирательная урна, взял и подсунил ему мусорную урну. А когда работал в букинистическом магазине (где я продавал Крафта-Ебинга и *Историю царской псарни и охоты на кабанов членов царской фамилии*), я посоветовал уборщице, мечтавшей поглядеть на Сталина, пойти в полночь на Красную площадь. Он по Мавзvoleю, сказал я, по ночам ходит, завернувшись в белую простыню. Я объяснил следователю, что это была шутка. Но он сказал, что придется записать это не как шутку, а как клевету на советских руководителей. Он, конечно, понимает, что это была шутка, но там, наверху, начальство все равно не поймет и слово шутка вычеркнет. Потому что в таких случаях заведено писать: клевета. А если не заведено, то они не поймут. Не поймут и припишут что-нибудь несусветное. Когда я подписался под этой клеветнической шуткой, мне, наконец, представили, после двух недель, обвинение. И улики. Следовательно достал из ящичка конвертик и сказал: признавайся и чистосердечно раскаивайся – твоя продукция? У тебя нет какой-нибудь ватрушки или творожной запеканки заесть этот жуткий кофе?» Это был вопрос уже ко мне. Я заметался между кофеваркой и холодильником, прекрасно зная, что никакой не то что ватрушки, а тем более запеканки – обыкновенного куска хлеба в доме не сыщешь.

«Тут я внутренне и охнул, – продолжал Четверган, уже забыв про запеканку. – Он сунул мне под нос конвертик, где лежало мое, можно сказать, политическое детство четырнадцатилетнего возраста. Я в том возрасте организовал массовое листовочное движение в своем единственном чис-

ле. Истинные мотивы своей пропагандистской деятельности я забыл. Детским печатным почерком, крупными буквами, я рассовывал по почтовым ящикам соседских квартир воззвание следующего приблизительно содержания: *Под давлением империалистических держав Англии, Франции и Соединенных Штатов, в борьбе за рынки сбыта, Советский Союз навязывает грязную войну чистому японскому народу. Уже не помню как, но, согласно моей логике, в Ленинграде из-за этой самой грязной войны наблюдалась явная нехватка продуктов, а моя мама получала смехотворно маленький паек, несмотря на тот факт, что она была участником конкурса на лучший гимн Советского Союза. Изложив все это, я заключал листовку призывом: Ленинградцы, будьте бдительны!* и подписывался: *Партия Освобождения Страны, сокращенно ПОС.* Это потому, что в школе слово ПОС означало *посредственно* – так я оценивал свою подпольную листовочную деятельность. Эти самые листовки я тайком по ночам рассовывал по соседским почтовым ящикам. Как они сумели отгадать, чей это почерк, я до сих пор не могу понять: ведь листовки были – печатными буквами. Если только я не использовал этот стиль еще где-то до этого или после, и кто-то с этим стилем был хорошо знаком».

Сталинское прошлое в их пересказе превращалось, таким образом, в каллиграфическую проблему. У меня нет и никогда не было собственного почерка. Еще со школьной скамьи, когда надо было написать что-нибудь от руки, я прежде всего выбирал (когда-то бессознательно, а потом и намеренно), чьим знакомым почерком мне воспользоваться, чтобы выполнить очередное письменное задание. С годами число этих почерков увеличилось, они иногда путаются, поскольку я пользуюсь ими машинально, соединяя их в некую новую версию: ее-то, наверное, и следует считать моим собственным почерком. Кроме того, мои способности к имитации и фальсификации чужого почерка несовершенны, и сами эти дефекты и создают, видимо, неповторимость моего почерка. Наша уникальность – не более чем неудачная попытка подражать чужой оригинальности.

В ту эпоху у меня не было своей жизни, а та, что была

(включая Конгрегацию), не осознавалась своей, и вообще никакой. Павел Улитин продолжал появляться в кафе «Арт» бессменным рыцарем несуществующей легенды: потому что для него, представлявшего себе жизнь как стенограмму одного грандиозного разговора, смены времен, в обычном смысле слова, не существовало. Мое же время еще не наступило, поэтому не слишком отличалось от улитинской остановки во времени. Я был никем, или точнее, как сказал мой кузен, я даже *никем* не был. Поэтому я с такой одержимостью вслушивался в разговоры взрослых. Дичась, однако, чужих советов и укоров, даже понятный смысл правдивых разговоров я толковал превратно. Павел Улитин подобные превратные толкования поощрял. «Слово», по его словам, «это судьба слова», и превратности судьбы лишь проясняют его смысл. Или затемняют. Но это уже моральное подведение итогов судьбы, а Улитин тем и паразителен, что нашел в себе смелость говорить о превратностях своей жизненной катастрофы не как о конфронтации добра со злом, детей и родителей, наших с вашими и т.д., а как о столкновении разных стилей мышления. Даже внешность его, с челкой, спадающей на лоб и армейской щеточкой усов, с медальностью черт и при галстукe, но при этом с палочкой и беретом, сопоставляла богемность с армейской дисциплинированностью. Морализаторское повествование было противопоставлено у него стенограмме запутанного разговора с перескоками и аллюзивным цитированием. Со своими друзьями, его со-узниками по Ленинградской тюремной психбольнице, он общался в переплетной мастерской (отделение трудотерапии), так что даже тюремный опыт превращался у него в некое литературное явление: судьбы переплетались, как книжные переплеты. «Попасть в переплет» – было у него такое выражение.

Понять (принять) его прозу возможно, лишь вступив с ним в некие личные, пускай заочные (пускай даже посмертно) отношения, некий диалог; мои же отношения с Улитиним в ту эпоху немыслимы без его отношений с его «заклятыми друзьями», в частности с человеком, которого я здесь называю по имени одного из своих старых персонажей – Четверган, поскольку человек этот, недавно вообразивший себя в роли библейского бога, категорически запретил мне называть его имя при каких-либо обстоятель-

ствах. Таким образом, библейский запрет позволит мне некоторую романическую свободу в искажении фактов о судьбе услышанных слов. Об известных людях пишут мемуары. О близких друзьях сочиняют романы. Улитин это хорошо понимал. Именно этим он и занимался. Запрет великого человека заставил меня подражать улитинской стилистике.

«Ни одной шашки не отдам», прошептал в лицо следователю враг народа родом из донских казаков, и стукнул ослабевшим кулаком по столу. Ему шили дело о национализме и свержении советской власти путем вооруженного переворота. По замыслу сталинского следователя, он руководил в своей станице подпольным отрядом донских казаков-террористов. Оставалось придумать только одно: сколько человек у него было под ружьем. Сколько казацких шашек? Донской казак, избитый до полусмерти, предложил, наконец, цифру: 40 тысяч. Следователь сначала обрадовался искреннему признанию врага народа, но потом опомнился: откуда 40 тысяч в станице, где сорока семей не наберется? Донской казак вдруг выпрямился, стукнул ослабевшим кулаком по столу и прошептал: «Ни одной шашки не отдам!» Мы рождены, чтоб сказку сделать былью.

Эту историю Улитин рассказывал с особой иронией, потому что сам он родом из русской семьи на Дону, вырос в станице. Этого донского казака Улитин повстречал в камере Бутырской тюрьмы, куда сам попал со студенческой скамьи московского Института литературы. Это была середина тридцатых годов, становление соцреализма в советской литературе. Новый литературный опыт закончился переломанными ребрами и порванными сухожилиями на ноге – он остался на всю жизнь хромым: передвигался с палочкой – его единственным холодным оружием? Все в нем было символично. Я до сих пор не уверен, не он ли сам с пафосом генерала воображаемой армии отстаивал перед следователем 40 тысяч своих казацких шашек? Опыт бесконечных допросов приучил его чуждаться собственных слов (за подписью расстрелянного – в конце протокола). Все, что я знаю о нем, рассказано им самим, но он предпочитал изъясняться цитатами: из мировой литературы или

из чужого опыта. Именно в этом и притягательная сила его мышления для подростка. Я, лишенный своих слов, пораженный, казалось бы, навечно, собственной немотой, был свидетелем того, как можно воссоздавать себя, от себя отказавшись: в чужих словах, в чужом опыте.

Есть ли в нас вообще что-либо от самих себя или же мы – конгломерат чужого опыта, *опытов*, взятых напрокат? И наша жизнь – это жизнь взаймы, а носим мы ее как чужой пиджак из комиссионки? Я стал подозревать, что если и заложено в нас нечто оригинальное от рождения, эта наша суть поддается выражению не иначе как опосредовано, через чужое, чуждое. Не стоит, однако, обольщаться собственной ловкостью ума. Нам неизвестно, как *нас* используют чужие глаза и губы. Мы, бессловесные, служим словарем для кого-то еще.

Вот почему так многозначительно прозвучал для меня улитинский пересказ первой встречи Андре Жида с Оскаром Уайльдом. Как искушенный шармер, Уайльд случайно в тревоге мирской суеты, среди шумного бала, случайно столкнулся с наивным юношей Жидом и, заглянув ему в глаза, рассказал следующую притчу. «Когда Нарцисс умирал, сидя на берегу весь в слезах, Река стала благодарить его за сочувствие. Нарцисс не понял: я плачу о том, что я никогда больше не увижу своего отражения в твоих водах. Река притихла, и Нарцисс удивился в свою очередь: а ты о чем тоскуешь? Река вздохнула: я-то думала, что ты плачешь потому, что я больше не смогу наблюдать отражение *своих* вод в твоих глазах». После некоторой паузы Улитин заглянул мне в глаза и добавил: «У Оскара Уайльда эта притча называется *Ученик*». Разница между Учеником и Учителем в том, что хотя оба и используют друг друга в качестве словаря и зеркала своих чувств, Учитель это делает намеренно и открыто, а Ученик неосознанно или украдкой.

Уайльд был любимым автором Четвергана; мое же сближение с Улитиным было результатом того, что он незаметно для меня пародировал-передразнивал мое тотальное подчинение Четвергану – вплоть до подражания четвергановским манерам и замашкам, если не внешности.

Его внешности, его носу картошкой и шишковатой сократовской лысине, подражать было трудно с моей кудрявой шевелюрой и фигурой фехтовальщика. Но тот факт, что у меня с семнадцати лет начал искривляться позвоночник, с перекосом вбок, я отношу к моим попыткам подражать четвергановской сгорбленности, устремленности вперед. В солнечный день на улице меня можно было принять за его тень. Я не только горбил плечи, я стряхивал пепел и сигарету гасил так же, как он, с выворотом из-под ладони; более того, я даже перестал лечить зубы с его подначки («с болью надо, по сути дела, справляться, в сущности, самому, без мешчанской, в принципе, привычки обращаться к врачам»); само собой, я стал говорить с его интонациями и его словечками, со всеми этими «в сущности, отчасти, на самом деле». Но главное, я стал подражать его почерку.

Московская эпоха 60-х была очередной эпохой сближения с Европой – сопоставлением несопоставимого, ломоносовским сближением далековатостей, и поэтому и в мышлении и в искусстве «западников» всюду процветал коллаж. Улитин, заядлый рыболов, называл коллаж каламбурным словом, означающим и мелкую рыбешку, и процесс склеивания: «уклейка». Четверган, в душе монах, презиравший занятия литературой, ограничивал себя жанром почтовой открытки. В ход шли журнальные картинки, попавшиеся под руку обрывки старых книг и вырезки из газет. Это был ежедневный комментарий к московскому быту этого круга, когда фраза или даже слово, ставшее поворотным в ходе отношений, «обклеивалось» в ином контексте, появлялось в неожиданном сопоставлении с другими и таким образом фиксировалось в памяти, становясь ключевым в будущих разговорах. Додумавшись до этого незамысловатого рецепта, я, с наивным энтузиазмом восхищенного ребенка, решил: «Я тоже так умею».

В один прекрасный день я соорудил две открытки. Первая предназначалась Четвергану. В газете «Советская Россия» я нашел заголовок «Искусство братской страны». В слове «искусство» я отрезал буквы «ство», в «стране» отрезал «ст», и получилось: ИСКУС БРАТСКОЙ РАНЫ – официальным газетным шрифтом. А адрес написал почерком

Андрея Белого. Вторая открытка была отправлена Юрию Айхенвальду, поэту, и состояла из одной цитаты, вырезанной из старого «Нового мира» и наклеенной на почтовую карточку: «Саша мне всегда говорил: Юра, мы все для тебя сделаем, только пиши». Цитата эта, насколько я помню, из слов Юрия Олеши об Александре Фадееве, покончившем самоубийством. Обе открытки были, естественно, без обратного адреса. Я был страшно доволен провокационностью этой эпистолярной выходки: если учесть идевательское отношение Четвергана к литературной деятельности Айхенвальда в те годы, и тот факт, что Четвергана звали Александр, а Айхенвальда – Юрием, то неудивительно, что на той же неделе я получил разгромное послание от Четвергана: «По твоей милости мне пришлось убеждать еще одну совесть русской поэзии, что это не я уговаривал ее писать», говорилось в открытке, злоеще распанной разноцветными чернилами: «В любом цивилизованном государстве тебя привлекли бы к суду за плагиат. Не ходи по моей тропинке. Ищи другие адресаты или иные смежные формы». В поисках смежных форм я направился на встречу с Улитиним.

«Еще раз напишешь – убью!» – злоеще расхохотался Улитин, приветствуя меня с балкона своей инвалидной палкой, когда я выходил под арку его дома в Савельевском переулке. Павел жил в переулке по имени Савел. Как символично все казалось в те дни: даже обнаженный Давид в музее изящных искусств на Волхонке, по дороге к дому Улитина, соединялся в уме с толпой голых людей напротив, плескающихся в клубах пара на морозе в бассейне «Москва» у стен Кремля. Тот музейный Давид был размером с Голиафа, но был без пращи. Улитин с палкой на балконе, казалось, собирается меня, настырного подростка, в наказание за наглый плагиат этой палкой пришибить на месте. Но улитинская палочка указывала, в действительности, на надпись огромными буквами мелом на стене подворотни: «Еще раз напишешь – убью». Выяснилось, что эта сентенция принадлежит их дворнику: в качестве угрозы местным сочинителям заборных надписей он сам взялся, так сказать, за перо. «Но как он понял, что это ваших рук дело, если на открытке не стояло обратного адреса? Нет, но как же он

разгадал почерк? Вот в чем вопрос», повторял он чуть позже с четвергановской открыткой в руке вместо палки. До меня не сразу дошло, что речь идет не о дворнике, а о Четвергане.

Мой первый визит в Савельевский переулок к Улитину совпал с первой серьезной размолвкой с Четверганом. Не думаю, что совпадение было случайным: ссора с одним великим человеком и есть обычно начало дружбы с его заклятым другом. Я был в панике, потому что именно в эти дни Четверган, создавая из меня звезду гитарного жанра всемосковского масштаба, задумал гала-концерт, куда собирался созвать сгѐте de сгѐте всей Москвы. Я готовился к этой затее со всем энтузиазмом новообращенного: шлифовал свои четыре аккорда на семиструнной, зазубривал бредовые слова романтического репертуара нами же выдуманного конгрегационного барда. Именно в этот момент в наших отношениях с Четверганом зазвучали фальшивые ноты.

«Ага, он так-таки всучил вам свой пиджак», встретил меня Улитин на пороге своей коммуналки. Я действительно был в пиджаке, подаренном Четверганом. Пиджак этот был, в первую очередь, подарен ему одной из его поклонниц, но сам Четверган отказывался его носить: может быть, опасаясь, что однажды за этот подарок придется расплачиваться душевным вниманием. «Ну и как вам в чужой шкуре? В этой шагренево́й коже? Как поживает портрет Дориана Грея?» Он находился в состоянии необъяснимого возбуждения. Нетрезв? «Мы примеряем на себя чужие достоинства, забывая, что они не существуют без чужих недостатков. Вы знаете, кто подарил ему этот пиджак? Вы не опасаетесь, что за чужие подарки придется расплачиваться вам? Вас со спины теперь будут путать с Четверганом. А чужая любовь – это всегда удар в спину». Он двигался по извилистому коридору коммуналки впереди меня. Перед дверью он остановился. Лишь когда мы вошли в его комнату, до меня дошло, откуда такое ощущение странности его вида: все это время он находился в зимнем пальто. Тяжелое такое драповое пальто с меховым ворот-

ником. Дверь на балкон была открыта. В комнате стояла взвесь солнечного морозного дня.

«Это я проветриваю», махнул он рукой в сторону распахнутого балкона, заметив мой ошарашенный взгляд. «Это чтобы моя домашняя безопасность не догадалась, что я курю. У моей жены свой образ жизни. Мой образ жизни она называет образом смерти. Моя милиция меня бережет: от инфаркта». Странно было смотреть на человека в зимнем пальто в кресле перед письменным столом с пишущей машинкой, стопками рукописей, записных книжек и карманных переплетов, библиотечных книг и – бутылки вина. «Кофе нет. В кофейной машине залипают дырочки в ситечке и сгорели резиновые прокладки». Бутылка вина на морозе с тремя рюмками: одна – для третьего лишнего? Над головой у него на стене за шкафом висел велосипед. Такая дачная летняя обстановка в трескучий мороз.

«Велосипед – это напоминание о лете, – проследил он мой взгляд. – О лете и об инфаркте. Хочешь велосипедной свободы, значит, готовься к тому, что к зиме эту свободу придется вешать на гвоздь у потолка. Это же чертовски тяжелое двухколесное изобретение. В последний раз меня чуть не хватил инфаркт, когда я вздымал его ввысь, стоя на столе. Опасная машина. Для Айхенвальда она закончилась психбольницей. Это было в пятьдесят известном году. Тетя дала ему бельевую прищепку для брючины, чтоб не защемило велосипедной цепочкой. Это же страшное дело, если попадешь брючиной в ту самую цепь, которой скованы все велосипедисты. Особенно на проспекте Маркса в сторону Дзержинского. Я-то знаю, что происходит на этом маршруте. Там слегка в гору, жмешь на педали, напрягаешь кипплинговским «иди!» свою волю и либидо, а как раз на самом пике напряжения – у «Детского мира» – перевал. Дальше жуткий спуск с разгоном, известным только опытным велосипедистам. Несет прямо на Железного Феликса. Прямо к подъезду того самого дома на Лубянке. И на этом бешеном разгоне как назло Айхенвальда сбоку стал притираться к тротуару фургон «Мясо». Ему бы тут нажать на тормоза, соскочить с седла, взять под уздцы и превратиться в обыкновенного советского пешехода. Но в самый критический момент у прищепки сволочи слетает пружина, брю-

чина разворачивается на ветру и попадает в цепь. Как ни крути, как ни сучи ногами, отцепиться невозможно, и нажать на тормоза тоже. Нам не дано предугадать, куда несет нас рок событий. Велосипед же несет прямо под бронзовые ноги Дзержинскому. А грузовик, прижимая, вертит направо, к Старой площади, где ЦК, и тут сознание Айхенвальда бессильно решить: то ли подчиниться бездушной силе грузовика и вертеть руль в сторону КПСС, или же вопреки разуму лететь в объятия Железному Феликсу? Тем временем, велосипед вылетает на объездное кольцо вокруг памятника. А у кольца нет ни начала, ни конца. Кругом мчатся грузовики, а он не может нажать на тормоза и прекратить это вечное кружение вокруг Дзержинского. Железный нарком начинает зеленеть от недоумения, и в окнах Лубянки начинают мелькать добрые, но усталые глаза: с какой целью этот очкастый интеллигент с заверченной штаниной делает вензеля вокруг совести русской революции? Короче, его вынули из седла, не без синяков и ссадин. И стали задавать вопросы. Он про прищепку, штанину и цепь. Цепь привела к более фундаментальной дискуссии об увлечении велосипедом, Айхенвальд сравнил велосипедиста со своеобразным кентавром человеческой психики. То есть: ездок – это человеческое эго, «я» Чела Века, а сам велосипед – это его либидо, его подсознание. Руки ездока, поэтому, это своего рода воля, вертящая руль судьбы. Подсознание, как и следовало, сосредоточено в ногах. Или между? Следователь на Лубянке затруднялся ответить на этот вопрос Айхенвальда. Вопросы, сказал он, задаем мы. Насчет несознанки во время дознания. Ответы же насчет подсознания Айхенвальда можно будет получить в Ленинградской тюремной психбольнице. Так мы трое и попали в переплет: в переплетную мастерскую ЛТПБ».

Он усадил меня напротив: надо было пробраться между столом и кожаным диваном. «Только не сядьте на мой переплетный пресс. Это мой самый усердный читатель. Читает, пока не усохнет. Рукопись, я имею в виду, а не переплетный пресс. Переплетный пресс работает на вечность. В отличие от Четвергана. Он в переплетной ЛТПБ надписывал названия книг на корешках переплетов. Кисточкой. Акварельными красками. Акварельная краска стиралась потными руками читателей через неделю. Поэтому

книги надо было надписывать снова. Ему не грозила безработица. Сколько там акварельных слоев набралось? Такой *палимпсест*. Уже неважно, кто что написал. Наши ифлийские споры о том, кто написал «Боже, царя храни» – Пушкин или Жуковский? У обоих есть в собрании сочинений. А оказалось – совместное творчество. Но первая строка, конечно, Жуковского. Или еще: «Всегда так будет, как бывало, таков издревле белый свет: ученых много, умных мало, знакомых тьма, а друга нет». Оказалось, что это не Пушкин, это Петров, а Пушкин просто переписал на память. У Четвергана целый диван забит стенограммами наших ссор. Остается выуживать из дивана и сопоставлять. Он очень рано понял, что писать интереснее, чем читать клевету на самого себя. И сразу решил, что жить интереснее, чем писать. А отвечать надо тем же оружием. Тяжело, конечно, оруженосцу, у которого слишком много рыцарей», и он бросил на меня взгляд из-под бровей. «Все забывают, что Дон Кихот был написан Сервантесом как пародия на рыцарский роман, а цитируют его как романтический идеал. Но мы-то знаем, что Санчо Пансу слушать интереснее, чем Дон Кишота», растянул он губы этим «кишотом» с наигранной обиженностью.

«Но читать будут вас», решил я на ноту откровенного преклонения.

«Именно это и сказал Понтий Пилат, умывая руки. Кстати, насчет мытья рук: не испачкайтесь о черную ленту на батарее», поспешил добавить он, заметив, как я жмусь подальше от балконной двери к центральному отоплению. На батарее под подоконником действительно усыхала лента для пишущей машинки. «Это лента для английской машинки. Четверган принес ее мне однажды в подарок ко дню рождения. Дело в том, что к английской машинке не подходит обычная русская лента. Не подходит. Не желает иметь с ней ничего общего. Надо покупать ленту двойной ширины, а потом отрезать одну треть обыкновенными ножницами. В доме нужно вводить чрезвычайное положение: разматывать весь этот моток по всей комнате и потом ползать по полу с ножницами. Ленту я стал предварительно просушивать, потому что иначе все руки такие черные, что вы не смоете своей черной кровью поэта праведную кровь. Я опять перехожу на русские цитаты. Моя русская машин-

ка», он указал на еще одну машинку, примостившуюся у окна, «ревниво относится к моей латинской машинке. Работа на двух машинках приводит к раздвоению личности. Ubi Libra Ibi Patria, Где свобода, там и родина. То есть, где легче пишется. По этому случаю я стал сочинять русские слова, которые можно напечатать на латинской машинке. Например, САМОВАР. Или: КОСМОС. Можно даже целые фразы, например: ЕВРЕЕВ В МОСКВЕ НЕ ХВАТАЕТ – все буквы, в действительности, латинские. Даже наша родная МОСКВА – и та, заметьте, вся из латинских букв. В обратной транскрипции с английского читается как МОКБА. И этим все сказано. Мы с вами сидим в заграничном городе Мокба. Можете сами попробовать». Он имел в виду опробовать словарь латинской машинки. «У нее, между прочим, жуткий удар. Горизонтальный. Рычаги выскакивают, как ножи, а не как молоточки. Она берет по десять копий. Русской машинке подобное не снилось». Пауза с прихлебыванием кислого вина. Пепел аккуратно заносится в пепельницу, как слова в протокол. И уже другим тоном, с другим нажимом пера, как будто на другой пишущей машинке:

«Первый удар самый страшный. Но он же и освобождает. Я это испытал на первом же допросе после моей попытки прорваться со своими рукописями в американское посольство. Я изображал из себя англичанина, свободно изъясняющегося по-французски. Поэтому когда меня привезли на Лубянку, следователь первым делом пытался выудить у меня имена и явки иностранных агентов и резидентов. Мне эти вопросы в конце концов надоели и я решил назвать имя главного резидента. На кого я работал. «Пожалуйста», говорю, «Анатоль Франс». Следователь аккуратно записывает в протокол. Франс. Анатоль. Адрес? «Франция», говорю. Улица? «Площадь Пантеона». Дом номер? «Без номера. Просто Пантеон.» Квартира? «Вторая ниша справа». Следователь все аккуратно записал, был страшно доволен, подарил пачку сигарет. Но это остроумие мне дорого обошлось. На следующий день он выяснил, кто такой Анатоль Франс и что такое Пантеон. А это значит: надо выдирать соответствующие страницы из протокола. А это значит: весь томище стенограммы допросов переписывать заново. Короче говоря, на следующий день я узнал все блаженство

первого удара и что такое обморок. Когда вам бьют ногой в живот прямо под я. Сознание выключается. Подсознание тоже. Вертухай продолжает тебя молотить сапожищами, но ты уже ничего не чувствуешь. Гораздо хуже потом, когда в тюремном лазарете к тебе возвращается сознание с переломанными ребрами. Шутку с Анатолом Франсом решил повторить лучший друг Алика Вольпина. Ему выбили после этого не ребра, а зубы. Беззубый диссидент. Самое смешное, он потом обвинял меня в том, что я плохо знаю Париж и Пантеон, в частности. Там нет никакой ниши Анатоля Франса. Он захоронен в совершенно другом месте. Пантеона он не удостоился. Стало быть, Четверган обвиняет вас в плагиате? До чего довели человека». Он поднялся и, перед уходом, стал закрывать крышкой латинскую машинку:

«Благодаря страшному удару, копий она дает кучу. Но лента, к сожалению, быстро снашивается. Вся истрепанная и в дырках. Первый экземпляр практически нечитаем. Первый экземпляр с такой лентой нужно считать слепой копией. Печатать приходится вслепую, а для чтения пользоваться второй, а то и четвертой копией. Но четвертая копия, учтите, не идентифицируется».

«В каком смысле?»

«В том смысле, что по четвертой копии нельзя установить, чья была пишущая машинка, то есть нельзя идентифицировать владельца».

Мы уже продвигались по коридору к выходу. У двери он остановился, опираясь на палочку, чтобы передохнуть. «Я в первый момент не понял, что это моя точная копия. До чего довели человека. Это была первая мысль. Когда меня переводили из камеры в камеру и вдруг впереди по коридору раздали щелчки пальцами: вертухай предупреждал вертухая, что нам навстречу ведут заключенного. Меня прижали лицом к стене, чтобы я не видел встречного. Но я успел-таки ухватить краем глаза: высохшее до самой кости лицо, череп, а не лицо. По коридору шагал скелет. До чего довели человека. И только в камере я вспомнил выражение глаз встречного: у него были расширенные от ужаса глаза. Он глядел на мое лицо с ужасом. И тут до меня дошло: я ведь выглядел точно так же, такой же высохший скелет. Просто еще одна четвертая копия». Мы шагнули на ослепительный мороз.

Путь к кафе «Артистическое», в надежде пересечься с оригиналом четвертой копии из наших разговоров – то есть, с Четверганом, на этот раз оказался особенно запутанным. Уклонение от маршрута началось с Пушкинской площади: в тот день Улитину нужно было вернуть «Дневники» Андре Жида и мемуары Андрея Белого в Некрасовскую библиотеку за углом.

«Там работает одна старушка. Она у них была библиотекаршей всю жизнь. В 38 году я взял у нее книгу на дом, а в тот же вечер меня арестовали. Я возвратил книгу только после войны. Меня встретила та же библиотекарша: страшно была недовольна. Посмотрела на просроченную дату возврата и сказала: «если будете так неаккуратно пользоваться библиотечным фондом, мы лишим вас права брать книги на дом». Он рассказывал это уже в кафе «Ли́ра» по соседству (там, где теперь «Макдональд»), где мы решили передохнуть перед последним броском вниз по Пушкинской улице. Излагая анекдоты из прошлого, Улитин параллельно расставлял, как ловкий эстражник-фокусник, рюмки, записные книжки, разливал винво и тут же записывая случайные фразы из нашего разговора на листочках, сложенных вчетверо. Потом листочек разворачивался и получался неожиданный и смешной текст, как в буриме.

«Как же они разгадали почерк? Я сидел и добросовестно записывал под диктовку. Я старался вообще не поднимать глаз». Как в буриме, почти неуловим был в устах Улитина переход от моей открытки к истории его первого ареста в Лит. институте на лекции по диамату. «Я записывал все подряд. Враги Коминтерна говорят: коммунизм – это идиотизм. Товарищи, коммунизм – это не идиотизм, а революционная теория авангарда рабочего класса. Я все это аккуратно записываю. Потом короткая пауза, и моя рука продолжает под диктовку то, чему не верят мои уши – мои собственные слова чужим голосом: *Как вы объясните тот факт, что при самом справедливом общественном строе на свете, под гениальным руководством т. Сталина, было расстреляно людей больше, чем за все мировые войны вместе взятые?* Это что, сталинский лектор нам все это сообщает? А я эту клевету старательно повторяю за ним у себя в тетрадке? Такой диалектический мат. Это мне напоминает старинный анекдот. Слепнувший Джойс диктует своему

секретарю, будущему Нобелевскому лауреату, и вдруг в дверь стучат. Откройте дверь, говорит Джойс. Бекет записывает. Записал, дальше. Да нет, говорит Джойс, дверь откройте. Записал, дальше, – говорит Бекет. Стучат в дверь, дверь откройте, – повторяет Джойс. Тот стука не слышит, пишет. Записал, говорит, что дальше? А черт с ним, пусть все так и остается, – махнул рукой Джойс, – все равно человек ушел. Не достучался. Что вы на меня так смотрите? Пора заказать еще одну бутылку бычьей крови. О сограждане, коровы и быки, до чего нас довели большевики», процитировал он Есенина-Вольпина, наблюдая мой столбняк.

Я был загипнотизирован улигинским видом, взглядом, манерой речи: «Бычья кровь» была, естественно, упомянута не в контексте сталинских жертв, а в том смысле, что пора заказать у официантки еще одну бутылку вина. Это был восточноевропейский вариант «Бычьей крови» – фирменное вино этого заведения. Можно было подумать, что кафе «Лира», с его ресторанным-фарцовочной атмосферой, с этим дешевым, тяжелым и терпким вином, было выбрано Улитиним не из-за близости к Некрасовской библиотеке, а в знак протеста против четвергановской приверженности к кофеварке магазина «Чай». Бычья кровь «Лирь» противопоставлялась кофе из магазина «Чай». Солнце било в стеклянные стены заведения, в оторочке из белого шелка штор, отражалось от плексигласовых столиков, с кадками пальм и креслами из цветных шнурков, натянутых на никелированные трубки: во всем этом было что-то африканское и вот-вот, казалось, закричит попугай. У меня с ночи ныл зуб: был воспален троичный нерв, и луч солнца впивался иглой в висок.

«Вы думаете, мы не разгадаем, чей это почерк?!» – стал оратор лектор, размахивая запиской с кафедры»; продолжал Улитин историю своего первого ареста, подливая «Бычью кровь» в бокалы. «На переменке ко мне подбежал мой лучший друг. Мы должны прохаживаться, делая вид, что мы просто прогуливаемся, – процедил он. И за колонной, мне сквозь зубы: ты знаешь, кто написал записку лектору? И гордо зачрево вещал: это я! здорово я сформулировал, в принципе? здорово я им всем врзал, по идее, насчет самого справедливого общественного строя и его жертв, а? Потом

помолчал и вдруг выдал: а знаешь, чей это был почерк? Это был почерк Андрея Белого, сказал он. Андрея Белого?! – удивился я; но это я (я в те годы подражал Андрею Белому) пишу почерком Андрея Белого: большими буквами, чуть ли не печатными. Всем известно на курсе, что я помешан на Андрее Белом. Значит, я написал записку твоим почерком? – побледнел мой лучший друг. Нет, но записку точно такого же содержания написал лектору и я. Ты хочешь сказать: было две записки?! – удивился лучший друг. Это значит, сказал я, твоя записка лектору – плагиат! И он обиделся. Закажите еще одну бутылку бычьей крови, а я удалюсь в *дабл-ю-си*, you see». Он стал выбираться из кресла, опираясь на палку с мучительной grimасой на лице: ему трудно было справляться с больной ногой. Он продвигался через весь зал, медленно и торжественно, как будто шел на аудиенцию к высшему начальству. Я помахал рукой, стараясь привлечь внимание официантки, чтобы заказать еще одну бутылку. Вино обретало металлический вкус зубной пломбы. Больной зуб стрелял в висок, и в голове гудело от пьяного галдежа. Я вздрогнул: кто-то тронул меня за плечо. Я оглянулся. Передо мной стояла официантка. Обесцвеченная блондинка с металлическим взглядом на высоких острок каблуках.

«Я хочу вас предупредить: четвертую бутылку мы вам не дадим». Я опешил. Прежде всего: а почему четвертая? Разве мы выдули уже три бутылки? Я начал было оспаривать именно число заказанных бутылок. Мне не пришлось в голову возмутиться самим фактом того, что официантка стала нам бесцеремонно диктовать количество выпитых бутылок. Четвертой бутылки мы не получим?

«Но почему» спросил я, наивный человек.

«Потому что вы – мальчишка», сказала официантка с безжалостной улыбкой, выждав, пока я не покраснею. «А ваш собеседник – старый больной человек. Пенсионер. Он сюда не в первый раз приходит. С ним все может случиться. Нехорошо спаивать пожилых инвалидов». Она повернулась и отбыла, покачивая бедрами. Я продолжал сидеть, остолбенев, с улитинскими листочками в руках: мальчишка-вымогатель, спаивающий разговорчивого пенсионера. Я продолжал машинально перебирать выданную мне на прочте-

ние «уклейку» – выклейку из цитат, выписок, журнальных вырезок, улитинской каллиграфии и машинописи:

«Клеточная жизнь. Но ведь надо же с чего-то начинать», звучал с интонациями Улитина машинописный коллаж из кем-то еще сказанных фраз. «Был такой энтузиаст в переплетной: переписал полное собрание сочинений Есенина от руки. Копировал страницу книги по клеточкам. Если быстро пролистать, не отличишь от типографского издания. Это вы правильно догадались: *Я тоже так умею*. Его же оружием. Важно, конечно, все принимать на свой счет. Но счет может быть и не Ваш. Вы еще не читали *Огненного Ангела*, Роман с ключом. Опять ключ потерялся. *А потом он открыл купе, и там на полу сидел Валерий Брюсов в обнимку с Ниной Петровской. Они пили коньяк прямо из горлышка и плакали*. Вы думаете, такое легко забыть? Еще поучительней переписка Андрея Белого с Блоком. *Мильй Боренька. Саша, родной мой*. И вдруг: *Милостивый государь, Борис Николаевич!* Нам пора вспомнить про Элиса. Это был такой общий друг у символистов, он их всех подзуживал и ссорил Белого с Блоком. Ему нельзя было давать книг. Исчеркает всю книгу своими заметками на полях. Однажды его поймали в публичной библиотеке: вырезал из книг целые страницы и клеивал туда свои собственные черновики. Ему грозил штраф и суд. Тот факт, что он был автором этих самых книг, не имело ровно никакого значения. Искусство принадлежит народу».

«Интересный почерк», возник за столиком Улитин. «Так сказал этот гад с нашего курса. *Интересный почерк*. Он стоял над моим столиком в институтской столовке и рылся в моих тетрадках, пока я ходил за чаем. Или за желудевым кофе? Я тронул его за плечо и сказал: сесть можно? Сесть? – переспросил он, – можно и сесть. Интересный почерк. Я знаю, что это не ты писал записку, – и скривился в ухмылке, – но можно посмотреть, на всякий случай? И стал без разрешения листать мои конспекты. Потом сказал: ну конечно не то, я так и думал, не тот почерк. Уселся и стал болтать про диа-мат и хлебать свои щи. Он по собственной инициативе предпринял это расследование. Я сначала хотел возмутиться: как это так, не тот почерк? Андрей Белый как под копирку! Но потом я подумал: а может быть, у автора записки – моего лучшего друга

– не такие гениальные способности подделывать чужой почерк, как у меня? Выяснить мне этого не удалось: с тех пор его по тюрьмам я не видал нигде. Вечером меня арестовали в общежитии. Он сел. Я сел. Все члены подпольной Ленинской партии сели, кроме поэта Павла Когана. Он продолжал петь про то, что сдох бы как пес от ностальгии в любом тропическом раю. Эту возможность сдохнуть он предоставил другим. А этого гада я недавно встретил на протезном заводе. У него нет пяток, отморозил на финской войне. Мне перебили сухожилия на другом фронте. У нас не было общих врагов. А вы что сидите? По какому делу?» Он уже обращался ко мне. «И ради кого сидите? Где кровь?» Он имел в виду «Бычью кровь».

«Они сказали, что я вас спаиваю», сказал я.

«Кто сказал?»

«Официантка подошла и сказала: четвертую бутылку вина мы вам не дадим». Я замялся и, бормоча, в конце концов повторил слова официантки насчет пенсионера-инвалида и мальчика-вымогателя. «Короче: я якобы выкачиваю из вас деньги на выпивку». Улитинские брови взлетели вверх:

«Это вас-то они обвиняют в бессовестности? А вы бы сказали, что у вас уже три совести: Айхенвальд, Четверган и я. А четвертую бутылку цикуты пусть пьют сами!» выпалил он зловеще неясно кому. Руки его тем временем быстро собирали листочки, рассовывали по карманам записные книжки и авторучки. Я полез в карман за деньгами, но он остановил меня, пробормотав загадочные для меня тогда слова: «Вы будете расплачиваться за эту дружбу благотворительными концертами. Сейчас это называется благотворительность. Раньше все было проще: стояли на углу с гитарой – один поет, другой собирает деньги с шапкой по кругу». Ему явно не давала покоя идея моего гала-представления с гитарой под эгидой Четвергана. «Вы не понимаете, с кем связались. Еще неизвестно, за чей счет ведутся наши слишком громкие разговоры. Четвертая русская совесть. В списке вы стоите последним, но вызовут вас первым. Мы с вами в расчете. В расчете (это уже официантке)», бросил он на тарелку денежную бумажку, не взяв сдачи, и, подхватив меня под локоть, зашагал к выходу: «Чтобы я еще раз переступил порог этого заведения!»

На улице в глазах зарябило от белого снега, мороза и жгучего ветра поземки. Мы шли против ветра, плечом к плечу, медленно продвигаясь по Пушкинской, как в кошмарном сне, когда хочешь спастись от убийц за спиной – но не способен сделать ни шага вперед. Мы как будто буксовали, топчась на месте. Улитинская палочка скользила по корке льда, как палка слепого. «Вы понимаете, что это значит?» стал бросать на ветер слова Улитин. «Вы понимаете, что теперь у них две уклеи на учете?»

«Вы имеете в виду: там в кафе за вами следили?» спросил я, стараясь не дышать: не столько от мороза, сколько от страха. Впрочем, трудно сказать: еще и этот вкус шерсти от шарфа, укутанного вокруг рта на морозе, смоченного паром дыхания, забивающегося в рот.

«За мной?! следили? Зачем? Я у них давно на учете. Они все мои разговоры успели за 20 лет заучить наизусть». Он остановился, чтобы передохнуть: скрестив ноги и опираясь на палочку, как будто позируя для элегантной фотографии в летний день. «Вы ничего не поняли: этот официантский подсчет бутылок действительно означает, что они следят – но не за мной. Следят за вами». Он развернулся и направился вперед: длинное пальто развеивается парусом и берет слегка набок: средневековый монах. Я поплелся вслед пришибленный. На углу Кузнецкого моста он снова остановился: «Нет, мы этой фамильярности так быстро не забудем. Мы выпьем до дна нашу четвертую бутылку. Мы поговорим с вами в другом месте. Мы пойдем на встречу с Четверганом. Четвергану навстречу. Имея вас в виду. Пусть знает, что не одними словами жив человек: и с нами тоже случаются кое-какие исторические события».

* * *

Один шаг вперед, два назад, четыре вбок: так продвигается поземка от Пушкинской площади до Солянки. Сколько там подземных переходов – между двумя встречами? Пурга запутывает маршруты. При приближении к Солянке даже география становится многозначительной в такой мороз. Полуразрушенная стена Китай-города и всяческая китайщина остается справа. На горизонте воины, павшие на Куликовом поле, затачивают копья. Нам остается потрясать бумажными страницами: слова нужны тому, кто не умеет делать деньги. Главное, не поскользнуться на этих

мыслях. Четверган каждую зиму вел учет: сколько раз он падал, поскользнувшись в гололедицу. Самое обидное, когда продержался всю зиму, себя не уронив, и вот, когда уже, можно сказать, грачи прилетели, один неверный шаг – и репутация рухнула. Когда гололедица, асфальт посыпают солью, чтобы стаивал лед. От этого седеет обувь. Слова – это и есть соль: без них не проглотить жизнь. Без них люди леденеют. Слезы смазывают обиду. Слезы замерзают на морозе. Подавляющее своей массивностью здание бывшего Соляного двора. Всю добытую соль надо было сдавать государству. Если для тебя этот человек и есть государство, то у него государственная монополия на все добытые тобой слова.

Звучит как страничка улитинской стенограммы. Или это все и написал Улитин? Разве переведешь это все на английский? Но это уже взгляд в будущее. А пока – впереди восьмиколонный портик бывшего Опекунского совета. Скульптурные воплощения Милосердия и Воспитания машут сквозь поземку своими милосердными и воспитательными жестами. При сакраментальном отношении ко всякой ерунде, всякая ерунда кажется сакраментальной. Но это – впереди. А пока – влево, в Подколокольный переулок. Это не в колокольный звон: в бывшей колокольне грохочет с перезвоном фабричный станок. Та заводская проходная, что в люди вывела меня. Трещит мороз. Слышу звон, но не знаю, где он. Давно ли я стоял летним вечером впервые на пороге этого храма под колокольный перезвон фабричного станка и гидствующую скороговорку самого странствующего монаха:

«Я предлагаю сейчас подняться ко мне наверх, я вам выдам на прочтение новый итальянский разговорник и тогда вы сами сможете убедиться, что не выучить итальянский – это, в сущности, государственное преступление, а продолжать изучение английского – значит потакать экспансионистским стремлениям империалистических агрессоров, каковым, по сути дела, и является Улитин со своими частными уроками. Мне его только надо хорошенько обклеить итальянскими газетными вырезками. Не Улитина я имею в виду, а итальянский разговорник. На Улитина клея жалко». Я уже тогда заметил, что на каждом крутом повороте разговора с Четверганом возникает Улитин. С

самого начала мне пришлось выбирать между двумя языками. И если бы только двумя.

«А главное, в отличие от вашего с Улитиным английско-го *тхе* в нашем итальянском все слова, в принципе, произносятся так, как пишутся. Англичане же, в сущности, народ безграмотный: кроме священников и нормандских оккупантов никто правил произношения по сути дела не знал: слишком много в результате немых букв – от безграмотности. Потому что кто такие англичане? англо-саксы, германы, варвары! В то время как итальянский – это язык древней римской империи, там все слова практически латинского корня, то есть, в принципе, интернациональные. Недаром все в сущности итальянцы – коммунисты. Но коммунисты они особые, главным образом за свободное распространение порнографии – единственный пункт, где еще действует официальная цензура». Под эту сравнительную лингвистику мы оказались перед входной дверью с талмудом указаний, кому сколько звонить, и тогда же я услышал правило пользования этими звонками, точнее, как ими не пользоваться:

«Не вздумайте звонить мне поздно вечером. Я не люблю, когда соседи контролируют визиты ко мне гостей из внешнего мира. Лучше кинуть коробком спичек (летом) или снежком (зимой) в окно. Если окно закрыто, значит, я дома. А если окно открыто, значит, меня нет». Я предположил, что он оговорился: очевидно, наоборот, когда открыто – он дома, когда закрыто – его нет. «Нет, окно не дверь», резко возразил он: «если окно открыто, значит, меня нет, потому что я не терплю сквозняков и окно в собственном присутствии держу закрытым, а когда выхожу, открываю, чтобы выветрился дух моего присутствия, как будто я вообще здесь не живу. Главное, оставлять поменьше следов собственного присутствия в этом мире». Если на лицо все признаки присутствия, значит, он отсутствует. Он появляется тогда, когда его меньше всего ожидаешь. Он там, где его не должно быть. Он там, где его нет. «Если окно открыто, значит, меня нет». Окно закрыто. Значит, он есть. Такая теология.

«Нечего стоять и гадать: есть он или нет. Давайте, кидайте», сказал Улитин. Я послушно слепил снежок и приготовился запустить его в окно. Ветер продолжал швы-

ряться мелкой крупной снега нам в лицо, и в тот момент, когда я размахнулся, чтобы запустить снежком в окно, там, едва различимое, как мне померещилось сквозь снежные завихрения и морозные спирали, замаячило нечто круглое, явно соответствующее человеческой голове. Шарообразный объект принял к окну изнутри и в этот момент мой снежок ударился с глухим стуком о стекло. Такое было впечатление, что снежок втемяшился прямо в лицо за стеклом. Рука за окном вздернулась вверх, как у убитого наповал. В действительности, рука потянулась к оконной щелчке и через мгновение высунулась в форточку. Рука размахивала с деловитостью милиционера-регулировщика: нам с Улитиным указывали заходить – со двора. Двор с колокольной фабрикой был завален снегом, так что каждый шаг грозил увечьем, как по заминированной территории. Улитин шел впереди, нащупывая безопасную тропу своей инвалидной палочкой. Я следовал за ним, чуть ли не цепляясь за фалды его пальто.

Лестница уходила вверх, в трубу дома, как закрученная узлами кишка: там были переходы и колена, отrostки и соединения с другими коридорами. Эта географическая запутанность была такого свойства, что искажала и ощущение времени: когда мы добрались до дверей со стандартным поп-артом из коммунальных звонков, Четверган уже встречал нас на пороге с пальцем, прижатым к губам в упреждающем жесте: «Только тихо, чтобы не разбудить опекунов». С годами я пришел к выводу, что опекуны засыпали всякий раз, когда у Четвергана кто-нибудь появлялся, а поскольку появлялся кто-нибудь в любое время суток, то спали они круглосуточно, что, в свою очередь, склоняет к предположению: а не была ли эта сонливость опекунов – средством запугивания нежелательных гостей? Существовали ли вообще опекуны на свете? или это был фантом четвергановского сиротского воображения? Так или иначе, по коридору надо было проходить на цыпочках. Не это ли создавало атмосферу музея, где можно изъясняться лишь шепотом? Атмосферу храма, где не дай бог переступить порог святая святых? Я помню, однако, свое первое изначальное впечатление: коридор выглядел как тюремный: блестящий линолеум, с коричневой масляной краской, канцелярско-кухон-

ными запахами и плошками ламп под потолком, с дверьми по обе стороны, под тюремные камеры.

Эту каморку трудно было назвать комнатой. Это было нечто среднее между тюремной камерой, монашеской кельей и лавкой утильсырья – специалиста, правда, не по металлолому, а по старой бумаге: от двери можно было лишь с трудом протиснуться между столиком у тахты – вся остальная площадь была занята пачками старых газет, как бы прокладкой между глухими тюремно-амбарными стенами и не менее густым воздухом в комнате, где киселем-кисеей нависал сигаретный дым так, что не видно было лица собеседника. Металл, впрочем, тоже присутствовал: в виде кофеварки на подоконнике, где все пространство было выложено кусочками сахара, унесенного из разных заведений. Кофеварка возвышалась часовым на фоне окна, строгим силуэтом в холодных лучах зимнего солнца, как будто на далеком горизонте, и от этого смещения расстояний силуэт головы Четвергана смотрелся как в тюремном окне с часовым на вышке. Старая недопитая бутылка портвейна «Солнцедар» возвышалась рядом, как эта самая смотровая лагерная вышка.

Все это было покрыто пеплом и пылью, точнее, казалось, что все: в действительности пеплом было покрыто лишь то, что в реестре предметов этого хранилища проходило под рубрикой «Хранить вечно». Но пыль в царстве Четвергана так или иначе не признавалась за вредный элемент в домашнем хозяйстве: он мог вам тут же объяснить, как слой пыли скрепляет и предохраняет книги, предметы быта и даже механизм проигрывателя, примостившегося на двух томах Брокгауза и Эфрона, от разрушительной коррозии. Немногочисленная посуда, имевшаяся в хозяйстве (одна чашка для кофе, другая для чая), тоже не мылась: слой кофе-чая проникал в трещины чашки и склеивал ее автоматически. Соскребывая исторический слой с реальности и меняя заведенный порядок, делая вид, что избавляешься от грязи и недостатков прошлого, приближаешься, в действительности, к хаосу: видимость хаоса в комнате Четвергана была, в действительности, результатом воинствующего консерватизма, когда ни единый предмет жизни не менял ни своей роли, ни своего местоположения – все

последующее подстраивалось, присоединялось к предыдущему.

Этот небольшой кусочек европейской цивилизации был окружен египетскими пирамидами газет. Тех самых итальянских газет, которыми обклеивался, в частности, разговорник итальянского языка, предназначавшийся мне на прочтение в тот эпохальный первый визит. Тогда же я и узнал о существовании некоей книги личных счетов между Четверганом и Улитиным. В тот первый мой визит хозяин кельи сообщил мне, кивнув в сторону газетных завалов: «Если бы не чекисты, я бы мог погибнуть в этих газетных завалах. Но четыре года назад они унесли половину. Они пришли в поисках рукописи Улитина «Анти-Четверган». Пародия на «Анти-Дюринга». Впрочем, я подозреваю, вы не знаете, кто написал «Анти-Дюринг». Чекисты, я подозреваю, тоже не поняли аллюзии. Я им сказал: странно было бы искать у Четвергана сочинение под названием «Анти-Четверган». Подобное сочинение нужно искать у врагов Четвергана, например, у Улитина. Им, впрочем, было наплевать на клеветническую сущность улитинского сочинения: у них было указание изъять улитинскую машинку – в смысле все с машинописным почерком Улитина».

«Четвертая копия не идентифицируется», вставил я авторитетно.

«А уже если вы ищете антисоветскую литературу, сказал я чекистам, то вот она, вся в пачки сложена. Они сначала не поверили. Потом не поверили своим глазам. И действительно, принялись разбирать. Причем итальянского языка никто из них не знал. Обыск продолжался целые сутки: они выбирали, главным образом, по фотографиям. Например, портрет Солженицына. Расчистили архив. От всех этих узлов. Узел первый. Узел второй. И все узлы с бараклом. Слава богу, половину унесли».

Там, где пачки газет не доходили до потолка, на них громоздились пачки книг, в свою очередь переложенных разными газетными и другими вырезками-закладками. Зажатые между тяжеленными томами, сушились самодельные открытки-коллажи Четвергана. Свидетельствами изготовления этих почтовых изделий были покрыты те немногие половицы, что еще оставались между тахтой и столиком. Но и на них было страшно ступить: обрезками

картона, бумаги, газет и журнальных обложек пол был усеян таким густым слоем, что каждый самый осторожный шаг сопровождался шуршанием, как будто нога ступала сквозь ворох осенних листьев. Иногда что-то хрустело под ногами, неясно что, но от этого хруста все равно было страшно. Втроем развернуться тут было негде и передвигаться можно было лишь по-ленински: шаг вперед, два шага назад. Но даже подобная тактика была практически невозможна, когда постоянно думаешь, на какую ногу ступить. На полке, где, видимо, хранился самый важный писчебумажный и библиографический инвентарий, присоседилась в духе советской разновидности поп-арта, украденная из очередной подворотни жестяная табличка с предупреждением: «Не прикасаться – высокое напряжение!» Внутренний порядок держался тут на весьма зыбком равновесии предметов. Опрокинуть его ничего не стоило. Всякое самое осторожное движение вызывало тут же истеричный окрик Четвергана:

«Ты отдаешь себе отчет, что ступаешь своими сапожками по чужому адресу?» Имелась в виду очередная эпистола, чей многослойный смысл отпрессовывался в нижних этажах этих пещерных завалов. Меня прежде всего поразило, что он с такой фамильярностью покрикивает на Улитина. Тот заметался с палочкой, балансируя между книжной пирамидой и столиком и в конце концов плюхнулся на тахту. Я оказался зажатым между ними. «Ну куда ты сел? Я же для вас, дураков, вырезаю и склеиваю цитаты вашей собственной жизни, причем доставляю их вам по почте, а вы, хуже гебистов, врываетесь без предупреждения и топчете мое искусство сапогами. Ты уже получил, кстати, мое отшивающее тебя послание?»

Я сидел, зажатый с обеих сторон. Мне стало жарко и закружилась голова от ядовитого дыма болгарских сигарет. зуб снова стал отстреливаться, метясь мне в висок. У меня на тебя зуб. Притупи ему зубы. Как рыба, попавшая на крючок, я разевал рот и, как рыба, не мог произнести ни звука. Вместо меня зазвучал Улитин.

«Не прикасаться – высокое напряжение. Еще раз напишешь – убью. Но как же они разгадали почерк?» бормотал вслух Улитин, зачитывая вслух надписи, попадающиеся ему

на глаза, попеременно с собственными цитатами, всплывающими в уме.

«А ты уже нетрезв. Могу предложить твоего собственного «Солнцедара», и Четверган ткнул в воздух кончиком сигареты в сторону бутылки на подоконнике. «В нем осталось столь же мало солнца, сколько в тебе – дара, но зато много клея: от него слипаются кишки», стал он объяснять мне голосом усталого гида. «Этот портвейн притащил однажды Улитин в своем алкогольном загуле, но даже он не способен был опустошить до дна этот сосуд. Я вспомнил про него через месяц и гляжу: жидкость расслоилась. Там выпал в осадок некий липкий состав. Я попробовал использовать его в качестве клея для своих открыточных коллажей, и ничего: держит лучше, чем резиновый. Впрочем, это тот же по сути состав: это ведь алжирское вино. Его экспортируют в Россию в алжирских цистернах из-под нефти. Впрочем, даже если в свежем виде глотнуть этот состав – как сунуться в розетку с напряжением в 220 вольт».

«Я же сказал: у алжирского бея под носом высокое напряжение», сказал Улитин. «Нефть превратить в электричество – в этом нет ничего удивительного. Евангельское чудо, уж если на то пошло, в другом: эти алжирские бей нефть превращают в вино. Но ты, распятый человек, вино превращаешь в клей. Ты сам его и пей. А мы пьем кровь. Мы пришли сообщить вам, ваша милость, что нам отказали в четвертой бутылке крови».

«Меня не интересует ваша кровь. Хорошего клея из нее все равно не получится. Меня интересует кофе. Черный кофе», сказал Четверган.

«Но вы не смаете турецким черным кофе поэта праведную кровь», сказал Улитин и переложил палку на колени, как будто готовясь стоять до последнего. Четверган зарылся до подбородка в одеяло, как бы защищаясь:

«Так или иначе, потчевать вас мне нечем. Даже если бы я собрался и заварил чаю, у меня нет соевых батончиков. А чай без соевых батончиков, как известно, не чай. То есть, у меня есть батончики, но они не соевые. Это я вчера унес с одного дня рождения. То есть, мне сунули пакет на дорогу, думая меня умаслить. Но вместо постного сахара, на который я рассчитывал взамен соевых батончиков, мне подсунули батончики *мокко*, а их приторная шоколадность на-

прочь исключает необходимую настоящему чаеведу соевость».

«Совесть?» переспросил я.

«Соевость. Не совесть. Соя. Чему вас там учат в ваших Кембриджах и Оксфордах?» В присутствии Улитина Четверган всегда презрительно приписывал меня к Англии. «Соевость сейчас самое главное понятие русской культуры, поскольку чай без соевых батончиков, как я уже отметил, не чай, а чаепитие, и есть главная духовная традиция русской культуры. И не только русской. Как нам продемонстрировал Улитин, слово САМОВАР можно написать и латинскими буквами. Совесть есть, ее даже слишком много. А вот соевости явно не хватает. Так что чай отменяется». В комнате стоял послеполуденный сумрак. Четверган полулежал, закутавшись по горло лоскутным одеялом на вате, вата торчала из разлезающихся швов. Шито белыми нитками. Он закурил, и кольца дыма, мешаясь с сумраком на фоне белого снега в окне, путали очертания его головы и кофеварки так, что непонятно было: идет ли пар из кофеварки или дым из головы?

«Проснувшись, мне нужно тут же заглотнуть черного кофе, а клапан моей кофеварки не работает, потому что забился прахом и пеплом: тут все вверх дном после ваших визитов, и черного кофе не получишь, не избежав взрыва всей системы. Я не против погибнуть от взрыва кофеварки, но за вашу жизнь я отвечать не собираюсь. Тем более, я пацифист и из всех форм самоубийства предпочитаю сон. Сон – единственный шанс на свободу от населения этой паршивой страны и, в частности, от вас. Теперь в поисках черного кофе мне надо доставать деньги и бежать в магазин «Чай», если он еще не закрылся на обед. Который, собственно, час?»

Мой напряженный мозг работал бешено в поисках ответа на вопрос: какое, милые, тысячелетье на дворе?

«У меня нет часов», ответил Улитин за нас обоих.

«Мои ходики явно устали от ходьбы и отстают», сказал Четверган, разговаривая как бы сам с собой, не обращая на нас внимания. «Я вчера подтянул гирю, и если сейчас они показывают двенадцать, а отстают они, по моим подсчетам, на двенадцать часов, который, стало быть, сейчас час?»

«Двенадцать», нашелся я.

«Это понятно, что двенадцать», раздраженноотреагировал Четверган. «Вопрос в том, двенадцать дня или двенадцать ночи? Полдень сейчас или полночь?»

«Зависит от того, подтягивал ли ты гирю прошлой ночью или днем», сказал Улитин.

«По-моему, для разрешения этого сложнейшего вопроса достаточно взглянуть в окно: судя по солнцу, до полночи еще далеко», решил я на смелое предположение.

«Вот пройдет еще секунда, и твой пепел упадет на пол. Ты убедишься, что я, как всегда, прав», сказал Четверган, наблюдая за моей сигаретой. «Ну вот, видишь: я оказался прав». Пепел действительно упал на пол. Я стал собирать пепел с пола в ладонку, но он не собирался, и я стал задувать его под диван. «Теперь вам ясно, как засоряется мой пол, моя душа и клапан моей кофеварки? В результате надо вставать и нестись в магазин «Чай». А для этого нужны не только силы, но и деньги. Деньги. Деньги. Деньги. Одну секундочку», привскочил Четверган на тахте и потребовал, чтобы я включил проигрыватель, пылившийся слева на книжной полке. Пластинка с «Моей Прекрасной Леди» звучала так, будто профессор Хиггинс страшно зевал, неспособный встать с утра с постели.

«Угум», буркнул Четверган. «Я так и знал. Эта пластинка – на 45 оборотов. В прошлое посещение ломбарда на сутки отключилось отопление, и проигрыватель перестал крутиться, потому что от холода и пыли застыла смазка механизма. На раскрутку до скорости 45 уходит две недели. Сейчас, если слух меня не обманывает – а слух не обманывает меня никогда, поскольку слух у меня абсолютный – пластинка перешла на скорость 33. Значит, прошло еще не меньше недели. А значит, приближается срок перезакладки часов из ломбарда. Кошмар». Он стал выбираться из-под одеяла, кашляя и чертыхаясь.

Перезакладывание семейных часов было ежемесячным проклятием Четвергана. Потеря этой семейной реликвии в виде золотой луковицы на цепочке была, в реестре катастроф, хуже, чем Октябрьская революция – для России. Москву Четвергана, то есть круг его друзей и приближенных, с приближением срока выкупа трясло. Москва ходила ходуном: ходила ходуном друг к другу, пытаясь набрать сумму, достаточную для выкупа часов. Выкупать надо было

в одном окошке ломбарда, закладывать вещи – в другом, в оба окошка тянулось по гигантской очереди, и отстаивали очередь, меняясь, все друзья, соратники и ученики. Сам Четверган иногда освящал место своим присутствием, обходя очередь и философствуя, в духе греческих перипатетиков. Выкупленные часы тут же перезаклаывались, и поскольку денег одалживалось всегда несколько больше, чем нужно для выкупа, на оставшуюся сумму обычно устраивалось пиршество, что-нибудь вроде суаре с бараньей ногой у шелкографа Йозельса. Это пиршество ознаменовывало начало нового цикла, новый отсчет времени. С приближением срока перезакладки листки отрывного календаря начинали падать с неминуемостью лезвия гильотины, и стрелки часов нависали дамочковым мечом. Впрочем, упоминания календаря и часовых стрелок – не более чем метонимия, потому что время жизни Четвергана в тот период этим самым ломбардом с перезакладами и отмерялось. Время было заключено в луковицу часов, запертую в ломбардном сейфе. «Если бы вы не пришли, мне не пришлось бы выяснять, который час, год и век, чтобы успеть до закрытия кофеварки: я бы продолжал спать и видеть сны, и еще долго бы находился в счастливом неведении того, что сейчас пошла четвертая неделя месяца, а это значит, что в ближайшие дни мне придется носиться по городу в поисках паршивой сотни, чтобы выкупить из ломбарда эти проклятые часы».

«Зато все мы, наконец, узнаем, который час», сказал Улитин.

«Неужели ты думаешь, что эти людоеды из ломбарда каждые сутки подводят часы, оставленные в заклад?» Время – это срок собирания денег на перезакладку часов, стоящих на месте. Время в закладе не движется. Мы все теперь заложники у времени в плену. Четверган тем временем подталкивал нас с Улитиным к выходу. «Кстати, ты не забыл про свое выступление в салоне у Айхенвальда в конце месяца?» бросил он походя, сквозь зубы, как будто не хотел, чтобы об этом слышал кто-либо посторонний.

Я вздрогнул от неожиданности. Забыл? Как я мог забыть о своем собственном гала-концерте? Лишь мы с Четверганом и пара клакеров от Конгрегации Св. Анны знали, что московской интеллигенции собираются моро-

чить голову фальшивой романтикой. Как я мог забыть? Что за вопрос? Я только вот плохо понимал, почему сам Четверган вспомнил об этом концерте в связи с ломбардом? Где связь? Или же он хотел намекнуть, что в связи со скандальными последствиями фальшивой открытки на адрес Айхенвальда с оскорбительными уговорами писать во что бы то ни стало, концерт отменяется?

Мороз на улице перехватил дыхание, и вопрос застрял в горле. Снег вбирал в себя все звуки – трещал лишь мороз. У здания бывшей церкви Всех Святых они чуть не попали под колеса автобуса. Он промчался с горки по улице Степана Разина, отрыгнув облачко выхлопных газов – оно провисело дольше обычного в неподвижном воздухе.

«Я так и знал. Именно этот номер», проскрежетал Четверган, как автобус тормозами. «Его теперь не дождешься. Теперь я, по вашей милости, вместо того, чтобы досматривать сны под ватным одеялом, должен буду плестись пешком в гору к Дзержинскому без росинки во рту с утра по морозу. И не предлагайте мне такси. Я буду идти и мучиться, а вы должны страдать, наблюдая мои мучения». И он нырнул в подземный переход.

Заледеневшая на морозе пауза в общении сменилась гулом голосов, шарканьем подошв и выкриками продавцов лотерейных билетов под туннельными сводами, как будто включили приемник с помехами. Спина Четвергана двигалась зигзагами сквозь толпу, то исчезая, казалось, навсегда, то снова возникая у очередного киоска. Лицо его не поворачивалось при этом в нашу сторону, но его косящий глаз, когда он выдувал сигаретным дымком вбок, безошибочно удостоверялся, когда можно снова рвануть зигзагами вперед, не давая нам с ним сравниться. То же самое повторилось и когда мы выскочили наружу из подземного перехода у памятника героям Плевны. (Позже я внимательно рассмотрел этот монумент. Черный крест на черном полумесяце. Памятник гренадерам, павшим под Плевной. На черном чугуне золотые буквы – цитата из Евангелия от Иоанна: «Больши Сей Любви Никтоже Имать Дакто Душу Свою Положит За Други Своя».) Четверган уходил вперед как раз на такое расстояние, что со стороны можно было подумать – он сам по себе, а с другой стороны, его нельзя было обвинить в том, что он пытается избавиться от нас, его

спутников. Он выдерживал дистанцию, всем своим видом демонстрируя Улитину, что он не убыстряет шаг исключительно из великодушия, чтобы не оставить нас в одиночестве. У него как будто глаза были на затылке. Улитин же продвигался, не подымая глаз от асфальта, занесенного снегом: судя по всему из-за того, что ему приходилось наступать палочкой твердую почву при каждом шаге, чтобы не поскользнуться. Но казалось, он не глядит вслед Четвергану принципиально. Как будто он отставал, уставившись в землю, из принципа: чтобы показать, что ему наплевать, в авангарде он или в арьергарде, и еще неизвестно, где начинается голова и где кончается хвост.

У каждого из них, однако, была своя тактика, свой маршрут, своя независимая от другого походка. Я же, постоянно решавший, кто виноват и что делать, то нагонял Четвергана, решив, что для него оскорбительна демонстративно замедленная походка Улитина; но уже поравнявшись с Четверганом, затылком чувствовал обиду в глазах Улитина, оставленного за спиной со своей инвалидной хромотой, и сам замедлял шаг. Именно потому, что каждого из них поочередно, с их особенной ущербностью и целеустремленностью, я воспринимал как окончательное воплощение истина, а походку каждого из них как последний приговор, – мое метание между ними и было двуручничеством: всякий раз я действительно предавал свои идеалы и принципы. Зеленый Феликс как будто пытался устремиться вместе с толпой взрослых в магазин «Детский мир». Морозная взвесь казалась его заиндевевающим дыханием. Или это была отдышка велосипедиста из улитинских анекдотов, кружившего невидимкой вокруг памятника под пристальным взором чекистов? Первопечатник с каменной книгой в руках онемело взирал слева на ладью нашей судьбы, нырнувшую в русло подземной речки Неглинки.

Магазин «Чай» недаром был расположен по соседству с рестораном «Арагат»: внутри была такая толкучка, что можно было подумать – трубы Неглинки прорвало и начался всемирный потоп. Толпа разделялась на два враждующих Ноева ковчега: одна сгрудилась в очереди за индийским чаем, другая заворачивала к кофейной машине с кондитерским прилавком. В ажиотаже собственной активности они не замечали друг друга, друг для друга не существуя. Они и

были не различимы постороннему глазу, попавшему с мороза в кофейную гущу локтей, голосов, взглядов. В нос шибало колониальными ароматами и нафталином шуб. Полки с чайными коробками гляделись то ли как грузинский ковер, то ли как образец поп-арта. После мороза в глазах начинало слезиться. Но я тут же различил зимнюю шапку Четвергана («чтоб не простудить мои лысеющие мозги»), как всегда в одном пиджаке, невзирая на мороз («чтобы принуждать тело отдавать тепло»). Он уже метался в круговороте зимних пальто на вате, шапок-ушанок и шарфов, между очередью в кассу, кондитерским прилавком и кофейной машиной, где девица индифферентно управлялась с рычагами, невзирая на напор и энтузиазм очереди. Время от времени казалось, что это не кофейная машина, а она сама шипит и свистит сквозь зубы, изрыгая с руганью струю пара.

«Пока вы тут без дела будете толкаться», без приветствия перешел к инструктажу Четверган, «девочкам из кондитерского надоест весь этот напор трудящихся, и они повесят на машину *Закррито На Ремонт*, и вы не получите кофе, а делиться своим кофе я с вами не собираюсь».

«Нам не привыкать: нам сегодня уже отказали в четвертой бутылке *Бычьей крови*», напомнил Улитин.

«Какой крови? Это магазин *Чай*. Тут дают кофе», пресек Четверган все разговоры про уклеек на учете.

«Подобную комбинацию я могу получить и у себя дома: не надо выходить на улицу. У меня там благодаря твоей подаренной кофеварке образовался магазин *Кофе*, но пью я – чай», сказал Улитин.

«А почему ты кофейной машиной не пользуешься? Зря я ее тебе, что ли, дарил?» спросил Четверган.

«Я ей пользуюсь. Но она закрыта на ремонт».

«Это плагиат», буркнул Четверган.

«Это не плагиат, у меня дырочки залипают, в ситечке. Что делать, если дырочки залипают?»

«Отчего залипают? Как они могут залипать?» возмутился Четверган.

«Как отчего?» удивился Улитин несообразительности Четвергана. «От чайнок! Отчего еще могут залипать дырочки в ситечке?»

«Ты хочешь сказать, что в моей великолепной, мною

подаренной, несравненной кофеварке ты варганишь чай? В кофеварке?!»

«В отличие от некоторых, я не пью каждый день кофе в магазине *Чай*», ответил Улитин, с гримасой усталости опираясь на палочку. Как будто эхом, я скривил лицо в гримасе зубной боли.

«Я тебя сюда не приглашал», повернулся Четверган к прилавку. И уже мне: «А ты? Кто будет занимать очередь, пока я смотрю, есть ли торт на разрезку для заедания двух двойных? Почему я должен раздваиваться между кассой и кофейной машиной?»

«Ты не должен раздваиваться», вставил Улитин.

«А тебе лишь бы куда-нибудь сесть и выпаливать свои провокационные цитаты, устраивая скандал на каждом повороте, когда тебе не хватает клеветнических поворотов сюжета».

«Ты не понял. Тебе недостаточно раздваиваться. Поскольку ты заказываешь по два двойных кофе на каждого из вас с твоим двойником», и Улитин неожиданно выставил палочку в мою сторону, «то тебе надо не раздваиваться, а расчлениваться. Кстати, почему говорят: четвертование, – когда по сути дела отрубают руки, ногу и голову? Это получается: не четвертование, а чистое рас-*тройство*».

«Потому, что остаются четыре части», задумался на мгновение Четверган, остановив свое броуновское движение между кассой и прилавком. «Четыре части: руки, ноги, голова. И туловище. Ты забыл про туловище», сказал Четверган, проталкиваясь еще на шаг к прилавку.

«Методически неверно», возразил Улитин. «Четвертование – это не результат, а процесс. А чтобы отделить руки, ноги и голову от туловища, нужно шесть ударов, а не четыре».

«Интересно, это они там торт разрезают или запекалку?» вытянул Четверган шею, заглядывая через головы под стеклянный колпак кондитерских изделий. «А ты тут со своей инквизицией!»

«Инквизиция предпочитала костры. Чтоб столб черного дыма к небу. У тебя, кстати, есть спички? Не с целью самосжигания».

«Здесь нельзя курить», сказал с неожиданной раздражи-

тельностью Четверган. «Если хочешь курить – иди наружу. Твое место на улице. А ты чего тут копаешься со своей мелочью?» повернулся он ко мне, провожая взглядом спину Улитина. Я видел сквозь магазинную витрину, как он повернул к Кузнецкому: не в направлении ли «Артистического»? Он ушел. Я остался. Я был уверен, что скандал произошел из-за меня: что это я довел Четвергана до такого раздражительного состояния своими фальшивыми открытками-самоделками. Улитинские намеки на Эллиса были послушно приняты мною на свой счет.

«Чему тебя учили на уроках арифметики?» продолжал Четверган поучать меня у кассы, еле сдерживая необъяснимое бешенство. «В результате твоих проволочек у советского народа возникает ложное впечатление, что в очередях повинны ленивые кассиры. Давай сюда свои деньги. Значит, так: шесть двойных и шесть четвертушек торта. Впрочем, нас трое, и на каждое двойное достаточно одной четвертушки для заедания. Так что три четвертушки. То есть, погоди: поскольку Улитин отказывается соучаствовать, то две четвертушки, а если уже выбито за три двойных, я выпью его порцию». зуб стрельнул, и лицо мое дернулось, что не прошло незамеченным для Четвергана. «Чего ты дергаешься? И не вздумай отказываться от торта. Вгрызайся в него большим зубом, в его сладкую сущность, и запивай раскаленным кофе. Зубную боль надо культивировать. Ее нужно довести до абсолютного пика, и когда уже почти теряешь сознание, перевалить через этот пик и как бы съехать со своей зубной боли, оставив ее позади, а самому идти к неведомым пределам, душой тоскующей навеки присмирив». Он уже располагался на узкой притолке вокруг гигантского мраморного столба посреди московского столпотворения, расставляя закупленные порции кофе и торта на блюдах прямо на грязные чашки как на пьедестал, быстро заедая кофе четвертушками, и запивая четвертушки двойняшками кофе. Он добрел на глазах. Между глотками уже отыскивалось место для слов, не относящихся исключительно к двойному кофе и четвертушкам торта.

«Ты бы поучился кое-чему у своего Улитина. В Ленинградской психбольнице медсестра была у нас на отделении единственной, можно сказать, доступной женщиной: когда

она рвала зуб, то вытирала тебе со лба пот рукой. Прикосновение было таким блаженством, что Улитин придумал себе еще один больной зуб, который надо было якобы вырвать».

«Он мне эту в точности историю рассказывал про тебя», пробормотал я. У него как будто щелкнуло что-то в мозгах:

«Тыуже получил мое отшивающее тебя послание?» выдал, наконец, Четверган вслух подтекст своего молчаливого раздражения. «По твоей милости мне в доме Айхенвальда шьют чужое непочтовое решение: марки с обеих сторон, следы клея, дикие колера – сплошные излишества, не мой стиль, я спрашиваю: чей? А мне говорят: да ведь твои же удары ниже пояса. Научил на свою голову. Вот ты бы поучился у Улитина, как подражать моему стилю. Хотя на его месте я бы тоже подыскал другие адресаты». И Четверган вытащил из кармана пачку почтовых заготовок, скрепленных аптечной резинкой, и среди них мою открытку ему со словами *Искус братской раны*, усеченной из газетного заголовка. Я забыл про свой больной зуб и впервы за сутки улыбнулся:

«Так ты думаешь, это Улитин тебе прислал?»

«Но это же его почерк – на адресе».

«Хмык». При этом моем хмыке Четверган наконец заметил мою скрытую победную улыбку.

«Ты хочешь сказать, что это ты мне эту рану прислал?» нахмурился он. «Я собираюсь, в таком случае, заявить протест Улитину: с какой стати он позволяет тебе безнаказанно пользоваться его почерком».

«Где это ты увидел его почерк?» возмутился я. Четверган указал на адрес. «Но это не почерк Улитина», пожал я плечами, «это почерк Андрея Белого. По поводу моего плагиата ты должен обращаться с протестом к Андрею Белому. На тот свет». Я бессознательно подражал улитинским интонациям.

«Важно не то, что это почерк Белого, а то, что увидел ты этот почерк у Улитина. Тебе Улитин первый скажет: неважно, чьи слова – важно кто, где и когда их цитирует». Четверган уже продвигался сквозь толкучку к выходу. На ходу он зажигал сигарету о раскаленную точку спичечной головки, до того, как вспыхивало пламя. Лагерная привычка – чтобы пламя не задулось ветром, чтобы вертухай не

заметил вспышки? Как бы мне тоже так научиться закуривать?

Улитина на выходе не было, и мы заметили его спину лишь на подходах к «Артистическому» в толпе «чернокнижников». Он тоже нас явно заметил: у «Сберегательной кассы» он приостановился, прислонившись в ожидании к стене дома, расстегнув тяжелое зимнее пальто и отирая лоб; он взмок и тяжело дышал после утомительного перехода по скользким тротуарам. Кафе для него было концом сегодняшнего маршрута:

«Ну, вы насытились? Хлебом кормили крестьянки его, парни снабжали махоркой. Так что концерта-бенефиса с гитарой в пользу бедствующего Андрея Белого не понадобится? Впрочем, причем тут бенефис?» с энтузиазмом растолковывал он мне, как будто Четвергана не было поблизости. Я не понимал ни слова, но видел, как изменилось, словно побелев от мороза, лицо Четвергана. Он косил в сторону, как будто не замечая Улитина. «Бенефис – это когда сам именинник бренчит на гитаре. А тут за него все устраивают его оруженосцы-антрепренеры. Иначе публика чего доброго решит, что бенефициант вдребезги пьян с двух двойных желудевого кофе. Ведь он не способен на публике двух слов связать».

«Посмотри на этого человека», вдруг схватил меня за рукав Четверган, ткнув рукой с зажженной сигаретой в сторону Улитина. «Запомни. Этот человек незадорого продаст. Это его сущность: продавать!»

«И недорого, между прочим, продаю. Только никто не покупает. Кому ты нужен?» хмыкнул, передернув плечами, Улитин. Четверган отвернулся и, не глядя, вполоборота, отпулил щелчком пальцев окуроч в ближайшую урну. «Стволы Лепажа роковые! Почему ты не соблюдаешь дистанцию?!» закричал Улитин.

«Что ты кричишь?»

«Ты в меня выстрелил. Окурком».

«Я бросил окуроч в урну».

«Ты хочешь сказать: я – мусорная урна? Гляди – она уже польхает».

Из урны, действительно, повалил дым. Но Четверган уже удалялся в направлении зеленого глаза над порталом Центрального телеграфа. Улитин трясущимися пальцами

стал машинально застегивать пальто и, перепутав петли, пристегнул пуговицу пальто к пиджачной петлице. «Это когда подтекст и текст меняются местами», пробормотал он. Я захохотал, но Улитин указывал уже на совершенно иное: еще с разинутым в хохоте ртом я проследил направление его взгляда и увидел, как Четверган на углу, поскользнувшись на корке льда, грохнулся на тротуар. Я хотел было броситься ему на помощь, но он с мальчишеской легкостью вновь был на ногах и через мгновение его спина уже исчезла в толкучке. Волей-неволей я продемонстрировал на этот раз лояльность обеим державам и шагнул по ступенькам в кафе вслед за Улитиним. На двери, однако, красовалась табличка: «Закрыто на учет».

«Правильно, на учет. День сведения старых счетов», прокомментировал Улитин. «Для меня день уже кончился. Для вас вечер только начинается. Довольно слабое сегодня было выступление. Но Четверган вообще хорош лишь на счет того, чтобы отбрить исключительно в интимной обстановке. А на публике двух слов связать не может. Когда его попросили выступить в кафе, представить публике Окуджаву с гитарой, он стал так мямлить, что зрители подумали – да он вдребезги пьян. Вот это был концерт. Назвали своего народу, закрыли кафе для посторонних, Булат с гитарой, магнитофон крутится. Вдруг стук в дверь. Федя-швейцар впускает двух человек в кожаных тужурках. Все решили: госбезопасность, сейчас будут брать. Оказалось: инкассаторы. Взяли всю дневную выручку и уехали. Не забудьте пригласить нас на свой благотворительный концерт. Ведь Четверган у вас антрепренером, не так ли? Деньги, то есть, будет собирать он, не так ли?»

Я не знал, что мой концерт будет благотворительным. В чью, интересно, пользу?

*Лондон, 1992**



* Сокращенная версия этого сочинения, под названием «Moscow Cafe Society», прозвучала впервые в виде лекции для славистов Лондонского университета 4 ноября 1991 г.

Ярослав МОГУТИН

«КАТОРЖНИК НА НИВЕ БУКВЫ»

(«Другой» Харитонов и его «непечатное» творчество)

Две жизни Евгения Харитонова (1941-1981) существовали одна в другой, и каждой из них он жил почти в равной степени. Первая – почти официальная и почти благополучная, почти напоказ и почти на виду у всех: ВГИК, своя студия пантомимы, защита диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения «Пантомима в обучении киноактера» («вещь о жизни на грани и для отвода глаз в жанре автореферата с оживляющими опечатками на мертвом, но долговечном клише», как написал он на титульном листе одного дарственного экземпляра), диссертации для 1972 года очень оригинальной и неожиданной, успешная и популярная постановка в Театре мимики и жеста с участием глухонемых актеров по своей пьесе «Очарованные острова», полставки на кафедре психологии МГУ, где он занимался проблемой исправления дефектов речи, организация эстрадно-театральной группы «Последний шанс», существующей до сих пор...

Его театральная деятельность стала большим и ярким событием в культурной жизни Москвы тех лет, а опыт в жанре пантомимы и эстрадной режиссуры можно было бы считать уникальным для нашей страны, но... существовала еще одна жизнь Харитонова, отодвигающая все эти достижения, сколь бы значительными они ни были, на второй план.

«Какая разница, кто мы в дипломах, – писал Харитонов

в анкете, опубликованной в альманахе «Каталог» («Ардис», Анн Арбор, 1982). – Мы пишем, и в этом наша жизнь... Работу всегда находил такую, чтобы в нее особенно не вмещивались и чтоб мало, совсем мало на ней бывать... Что делать, у меня было другое, главное занятие, и я думал только о нем».

Харитонов-литератора знали значительно меньше, нежели Харитонов-режиссера. Между тем, писательство его интересно куда более. Новатор театра, свои эксперименты он перенес на бумагу, работая практически во всех существующих жанрах и изобретая свои собственные.

Был ли он представителем какой-то особенной и необычной, *новой эстетики* и (суб)культуры? Возможно, он – один из ее изобретателей. «Ренессансность» его особняком стоящей фигуры проявилась в том, что он, будучи не совсем характерным представителем «задушенного», протухшего поколения, два десятилетия наступавшего на горло собственной песне, стал своеобразным аккумулятором невостремленной духовной, творческой энергии 60-70-х годов, «невывказанности, невыраженности, неприложенности сжатых сил, нерастраченности сгнивших силенок».

Нет, Харитонов не «абортированный талант» (как утверждает литератор, пытающийся, вероятно, избавиться от Эдипова комплекса своей нынешней почти популярностью). Он был талантом, в писательстве вполне реализовавшимся. Да и не только в писательстве.

«Его ждала благополучная карьера и в актерстве, и в академических занятиях, и на преподавательском поприще, и в театральной режиссуре, но он упорно отклонялся от любой прямой, поворачиваясь к одному ему видимой цели, для иных – призрачной, с точки зрения внешнего успеха – вполне безнадежной. От каждого своего занятия он брал необходимое для потаенного пути, во всем достигая, впрочем, скорых и блестящих результатов, но, словно выполнив мирской долг, с нескольких шагов возвращался на свою единственную стезю, сберегая силы для Служения» (Н. Климонтович).

Видимо, не случайно говорящие и пишущие о Харитонове неизменно оперируют возвышенным (если не сказать – высокопарным) стилем. Даже ненависть и негодование, которые у многих вызывают он и его литература, исполне-

ны какого-то надрывного пафоса. Создается впечатление, что Харитонов был гораздо масштабнее своей судьбы и жизни, выше и больше всего, чем он когда-либо занимался, глубже и серьезней того, что написано им, и – тем более! – того, что написано о нем. И, видимо, поэтому для кого-то писать о нем означает – писать ему.

Не случайно Харитонova, «каторжника на ниве буквы» сравнивают с Иоанном Богословом, не случайно с Богословом сравнивал себя он сам, «Вначале было Слово (стихотворение, писавшееся полгода), и Слово было Бог. И вот его жизнь, его богатство, его успех тоже в слове, а не в чем другом»...

И тут же, как бы низводя собственный образ с самодельного пьедестала, ироничный в самоуничижении Харитонов затевает кощунственную, казалось бы, словесную игру, предлагая совсем другой вариант начала Евангелия от Иоанна: «Вначале было Слово» – «В чулане билась сволочь»...

Мир Харитонova, его философия, его мировоззрение и хорошо разработанная им система ценностей (*его* ценностей) существенно отличались от постшестидесятнического интеллигентского сознания (имея в виду ту часть интеллигенции, к которой он принадлежал или мог бы принадлежать). Четкая дистанция, которую он соблюдал в отношениях с коллегами по «литературному подполью», выдавала его «особость». «К собратьям по перу я прихожу застегнутым на все пуговицы, но с вопящей розой из своих стихов в петлице. Хотя все равно она слишком роза, чтобы быть бесстыжей. Я бы и не допустил, чтобы она дразнила. Я не павлин. Я что-то под стеклом. Я культурное растение. Хотя и не минерал. «Я» среди людей, культуры и государства».

Именно эта харитоновская позиция – «Я» среди людей, культуры и государства» – была главным его отличием от преобладавших в то время интеллигентских умонастроений. «Я живу не по церковному календарю. Я живу по советскому календарю». (Ибо «это грех – искать себе особого положения среди людей и так подбирать себе общество, чтобы казаться странным – что еще и не грех, такое же отвоевание себе прав на свой вкус в житейских волнах.

Но он подводит вас уже к самому греху: вы не выполняете своего исключительного положения, тогда как наметились на него. А не выполняете, потому что письмо для вас – лишь средство предстать перед людьми в выгодной роли, вместо того, чтобы стать заменой жизни или новой жизнью».)

У Харитонова были четкие представления об отношениях с официозом, о той необходимой (неизбежной) степени соприкосновения с ним, которая давала бы ему возможность бескомпромиссного существования: «У меня не было деревни, как и у ж. (жидов – Я.М.), и любви к полям, с которой можно попасть и понемногу процвести в официальной культуре. (И может быть, не быть противным.) Но уже в честные переводчики, в инсценировщики и в детские поганые писатели я бы не пошел и даже бы не помыслил. Потому что не жид».

Антисемитизм Харитонова – весьма болезненный аспект, вызывавший и тогда раздраженное недоумение даже среди его друзей и поклонников, а позднее ставший одной из причин замалчивания и непечатания. В *той* среде и в *той* культурной ситуации за подобные высказывания любовью был бы подвергнут остракизму. Харитонова, человека, «воспитанного и замешанного на «русской идее» (по свидетельству и выражению Е. Шифрина) пытались «переубедить» («споить «непьющего русского»), образумить: талант талантом, но ведь не Достоевский и не Розанов, чтобы так да о таком. Во всяком случае, тогда его за это наказать так и не смогли (ограничивались обидами), – не позволяли его литературный и социальный статус, – наказали позже, по-смертно.

Идеологический, рассудочный антисемитизм Харитонова («устанавливают порядок евреям...»; «напереведенное жидами...»; «мудрое сталинское решение о раскрытии псевдонимов...»; «общий жидо-масонский тайный ум...»; «устройство, заведенное евреями...»; «еврейская опасность...» и т.п.) переходит в антисемитизм расовый, физиологический, животный («1 евр. для коллекции»: «первый жид, с которым я ложусь. Жиденок. Наполовину об одном яйце...»). Впрочем, вероятнее обратное: истоки любой фобии (юдофобии в т.ч.) легче всего искать в сексуальной сфере. Тезис О. Вейнингера о том, что для человека гомосексуальной ориентации еврейство олицетворяет женское

начало в человечестве, которое не может вызывать у него (гомосексуалиста) никаких положительных эмоций, в случае Харитоновна многое объясняет.

В области сексуальных интересов можно искать и предпосылки сложившихся взаимоотношений Харитоновна и государства. Остро переживавший невозможность создать «нормальную» семью – «ячейку общества», предполагаемую теплоту и комфортабельность семейной жизни он пытался перенести в нелегально-конспиративную систему гомосексуальных контактов: «Я хотел семейной жизни...», но: «Семейство однополых невозможно. Это дело блядское...»

Когда речь идет о Государстве, у Харитоновна отсутствуют такие давно утвердившиеся штампы, как «Родина-мать» (опять женское, материнское начало) или «Отчизна» (производное женского рода от «отец»). Государство для Харитоновна не родное, а приемное, и отношения с ним напоминают скорее отношения опекаемого и опекуна, у которого еще миллионы таких, как он: «Да, государство не на отдельного человека, а на всех людей. И их интересы невозможно уравновесить, не ущемив каждого. Тем более – каждый может хотеть этих свобод до безграничности (до беспричинности)».

Государство не является родным, поэтому оно не становится любимым. Но оно – вне критики, оно – «объективная реальность, данная нам в ощущениях», данность, которую, как и родителей, «не выбирают». Для Харитоновна безусловно важным этическим моментом является Долг перед Государством: «Вы должны быть должным лицом (на работе). Вы должны выполнять то, на что вас на работе назначили». Государство – строгий, но справедливый заказчик: «Безусловно, чтобы дело вести, надо считаться с требованиями и думать о заказчике, как и дело сохранить и чтобы заказчик не отказал в поддержке». Страх Государственного Гнева, боязнь «не оправдать доверия»: «Погодите, не делайте ничего со мной. Я еще спою песню для всей Родины. Я заставлю свою музу служить Советскому Союзу». Священный ужас: «Он был убит государством»...

Харитоновская героизация слабости (скромности) своей оборотной стороной имеет восхищение перед мощью, силой, величием Государства, Родины, Закона, Порядка, Морали, Права... (перечень можно было бы про-

должить и дальше): «Какой есть Закон и Порядок Родины, такой он и должен быть. Порядок для людей художественного взгляда всегда фатально прав. Мы привязаны к нему! Он нужен нам: в нарушении его нерв наших художеств». Активность и инициативу в отношениях с властью Харитонов целиком и полностью переложил на государство («Сейчас пойду и проголосую. Отдам свой голос за кандидатов в депутаты...»), которое стало для него олицетворением брутальной (полноценной) мужественности. Собственная пассивность при этом объяснялась исключительно смирением (самоуничижительной, почти мазохистской покорностью).

Харитонов ввели в авантюру, стоившую ему жизни. Соблазнили возможностью напечататься. «Кодекс чести» был полностью нарушен, как только он попытался изменить его основу – человеческое и художническое смирение.

Альманах «Каталог», «дочернее предприятие разгромленной годом раньше фирмы «Метрополь» (по выражению Е. Попова), где предложили напечататься Харитонову, был подготовлен Московским Клубом Беллетристов, основанным весной 1980 года. Из аннотации: «Клуб Беллетристов объединяет писателей разных возрастов, стилей, литературно-художественных жанров. Все они работают в литературе на протяжении многих лет, но по не зависящим от них обстоятельствам практически не имеют выхода к читателю, годами находясь в бесперспективном состоянии «рукописности». Слово «клуб» подчеркивает естественность общения его членов, не обремененных особыми организационными обстоятельствами, ответственных лишь перед жизнью и культурой».

Казалось бы, какое отношение процитированная заувяная демагогия, само казенное наименование «клуб» имело к Харитонову?! Однако, он с энтузиазмом примкнул к заманчивому и романтическому для него «Тайному Мужскому Союзу».

Заигрывание с властью (письмо от 18 ноября 1980 года в Управление культуры ЦК и Моссовет о создании Клуба с предложением издать «Каталог» в количестве 300-500 экз.) немедленно перешло в конфронтацию. «Метрополь» с большой натяжкой, но все-таки можно было расценивать как вызов официозу, властям, цензуре. «Каталог» выглядел уже стопроцентной бравадой, ухудшенной копией первого

неудавшегося скандала. И не только по составу представленных в нем имен (Ф. Берман, Н. Климонтович, Е. Козловский, В. Кормер, Е. Попов, Д. Пригов, Е. Харитонов), но и по уровню публикуемого. И если в первой истории скандал грозил исчерпать себя, не успев начаться, то на «Каталоге», видимо, решили отыграться всерьез. Сначала были задержаны Берман, Климонтович и Козловский, «Каталог» был конфискован, прошли обыски. Протест писателей в Московскую прокуратуру остался без ответа. «Каталог» не был возвращен авторам. (Через год, в конце 1981 года, уже после смерти Харитонова, был арестован Козловский. По Москве вновь прокатилась волна обысков.)

Харитонова подставили. По нему было легче всего бить («меня затаскали»), ему можно было пригрозить 121-й статьей, припугнуть унижительной экспертизой. (Он в панике обзванивал своих друзей-гомосексуалистов, предупреждая о том, что с ним нельзя больше поддерживать никаких отношений.)

Народное Государство активно проявило свою садистическую брутальность...

... «Он был убит государством»...

Харитонов – имперский писатель, не в смысле – живший во время существования Империи. Он был писатель, творивший за величественным фасадом Империи, в ее тени ловивший отблески ее славы, отражения ее великих побед и свершений. Харитонов крепко-накрепко привязан временем к эпохе 60-70-х, эпохе навсегда потерянного советского «рая», эпохе «застоя», которая, вопреки названию, стала началом возрождения русской культуры. Харитонов мог проявиться и существовать только тогда, в той стране, в той Москве и только тогда он мог стать тем явлением, которым стал, находясь в достаточно удобном, комфортности-комфортабельном положении «подпольного жителя». Тоскливо-гнетущая атмосфера официоза и полуобвалившаяся уже к тому времени соцреалистическая романтика стали питательной средой возникновения и развития перевернутой (анти)эстетики его произведений, по праву могущей именоваться андерграундной («подпольной»). Увы, но только тогда Харитонов мог восприниматься адек-

ватно и целиком именно как явление, а не только как писатель, режиссер, человек.

Как человек Харитонов умер в тот исторический момент, когда существование его стало заметным (замеченным), когда ему стала грозить почти слава, потеря статуса «подпольного жителя», «непечатного писателя», когда андерграунд переставал уже быть подпольным, превращаясь в объект политиканства и предмет выгодной коммерции. Как писатель он только сейчас начинает свое полноценное, достойное его бытование в литературе.

Харитонов – трудный писатель, и литература его – трудная: форма, стилистика, язык, а сюжет – прежде всего. Все его не столь многочисленные произведения – о любви, но о другой, любви необычной, редкой, как и сам он был *другой*, совсем другой, очень экзотический «цвѣток». Именно это обстоятельство помешало Харитонову в семидесятых стать кухонной знаменитостью, а его произведениям – «самиздатовским бестселлером».

Харитонов не вписался не только в диссидентскую культуру с ее крикливым правдоискательством, скучным циничным морализмом, оголтелой самоуверенностью и клановой склочностью, в ее литературу, наделенную двойным грузом ущербности «совковой», помноженной на ущербность анти-«совковую». Он и здесь оказался другим, совсем другим. Сближение Харитонova с андерграундом (столь же уродливым во всех его проявлениях, как и вся история его существования в нашей стране) оказалось несомненной удачей для андерграунда. Но не для него! Своим творчеством дав заряд целому поколению доморожденных авангардистов, Харитонов был брезгливо ими отвергнут.

Мнимая «элитарность» его произведений обусловлена в первую очередь гомосексуальной окрашенностью. Аудитория, которая могла бы адекватно оценить их уровень, избавившись от предвзятого отношения к их тематике, была ничтожно мала: фактически, только круг знакомых и единицы интеллектуалов, для которых мотивы однополю любви в русской литературе (не говоря уже о западной!) не казались чем-то невероятным. В большинстве же отношении к нему и его творчеству было таким же, каким было и отношение к гомосексуализму вообще: в лучшем случае –

ирония («А надо вам заметить, что гомосексуализм в нашей стране изжит хотя и окончательно, но не целиком. Вернее, целиком, но не полностью. А вернее даже так: целиком и полностью, но не окончательно. У публики ведь что сейчас на уме? Один только гомосексуализм». – Вен. Ерофеев, «Москва – Петушки»), как правило же – агрессивное, ханжеское неприятие.

Гомосексуализм его не был позой, не был игрой (каковой он является сейчас в творчестве ехидных и кощунственных постмодернистов, выдумавших для своего литературного словоблудия все, включая самих себя).

Харитонов не был первым русским гомосексуалистом-литератором. Теме гомосексуализма в русской истории, культуре, литературе посвящено множество исследований, вышедших на Западе и до сих пор не известных у нас. Во всяком случае, даже не слишком заинтересованный этим славист мог бы наверняка назвать с десяток крупнейших авторов, разработавших в своем творчестве мотивы однополый любви. Но Харитонов был первым русским гомосексуальным писателем за последние полвека после Кузмина и Добычина (если не считать К. Вагинова, А. Платонова и немногих других, у которых эта тема присутствует косвенно), и, как справедливо заметил Д. Пригов, «он первый стал писать откровенно на гомосексуальные темы», используя при этом соответствующую, порою – очень специфическую лексику, не существовавшую еще во времена его предшественников.

Творчество Харитонова – вовсе не «путеводитель по «прослойке» с определенно направленным половым вектором», не «энциклопедия гомосексуальной жизни», не «зеркало сексуальной революции» и – тем более! – не манифест гомосексуализма (хотя иногда – например, в «Листовке», – очень смахивает на него), точно так же, как Харитонов – вовсе не «этнографический» автор, описывающий нравы, типы и обычаи людей, наличие которых в принципе не было предусмотрено сложившейся у нас системой общественных отношений, целого народа (и отнюдь – не «малого»!), репрессированного за свое не запланированное никем, кроме природы и Бога, существование.

Харитонов – не «писатель для гомосексуалистов». Его гипотетическая читательская аудитория не может быть

априори ограничена приблизительно-предположительными десятью гомосексуальными процентами «русскоязычного» (имея в виду и русскоговорящих, и русскопишущих, и русскочитающих) населения. Если попытаться свести всю проблематику харитоновских произведений до уровня упрощенной аналогии, то облитературенная судьба гомосексуалиста – это судьба «униженного и оскорбленного», гоголевского «маленького человека», «человека из подполья» Достоевского, зощенковского трагикомического персонажа и еще многих-многих «лишних людей» классической русской литературы, в которую уже входит последний эшелон совсем недавно запретных авторов.

Трудно в двух словах объяснить причину отсутствия имени Харитонова в числе новоканонизированных классиков. Каждая конкретная литературная судьба вершится по своим законам. И вот оказалось, что для Харитонова она сложилась крайне неудачно. Вроде бы это именно тот автор, который мог бы стать настоящей литературной сенсацией именно сейчас, когда «все можно», внести хоть какое-то оживление в тихий омут современной российской словесности и сумятицу в «джентльменский набор» имен, на протяжении нескольких последних лет кочующих из одного издания в другое...

Харитонова слишком долго не печатали и не принимали всерьез, настолько долго, что создается впечатление, будто только он остался невостребованным, непонятым и неузнанным. Он – последний, за ним нет никого, в то время, как он – первый среди новообретенных, «хозяин их умов, водитель их перьев или, сам, – нажиматель компьютерных кнопок, тот, с кого они все начались» (Н. Садур). Подобная ситуация для заинтересованного читателя превратилась в элементарное незнание первоисточника...

Харитонов – слишком большое событие в русской литературе, чтобы забыть о нем, отмахнувшись несколькими недобросовестными публикациями в плохоньких изданиях и глупыми «разгромными» статейками. Серьезное исследование его творчества – впереди, сейчас необходимо вывести наконец Харитонова из числа «непечатных писателей», долгие годы находившихся «под домашним арестом».



Александр Генис

РУССКАЯ СМЕРТЬ

1

Начать я хочу преамбулой чисто личного* характера, а в оправдание этой интимности могу сказать, что проблема, которую мы собираемся обсудить сегодня, бессмысленна без апелляции к личности. Всякая культура, всякий народ, всякая цивилизация вырабатывает свое отношение к смерти, но последние вопросы, те, которые Михаил Бахтин называл вопросами «у крышки гроба», приходится решать каждому по одиночке. Поэтому я и начну с себя.

Есть у американцев обычай: раз в год они оценивают все, что произошло с ними за прошедшие 12 месяцев. Таким отчетом часто делятся с друзьями. Я, например, не раз получал от американских приятелей подробный перечень их частных успехов и неудач. Кстати сказать, такая жизненная бухгалтерия действительно помогает верной самооценке и способствует разумному планированию повседневной жизни.

Так вот, однажды и я занялся тем же, что и вся Америка – сел подводить итоги. В частности, просмотрел все, что написал и опубликовал за последнее время. Вот тут-то я и сделал поразившее меня открытие. Оказалось, что чуть ли не каждый второй заголовок имеет отношение к смерти. Именно так: не статьи, а заголовки. Писал я о чем угодно – литературе, кино, политике, но в заглавиях постоянно возникали «memento mori», напоминания о смерти. Ну, например, репортаж с кинофестиваля – «Поэма конца», или

* Лекция прочитана в Hunter College, Нью-Йорк.

– проблемная статья о современной словесности «Иван Петрович умер».

Надо сказать, этот inferнальный намек изрядно смутил мой душевный покой. Оказывается, пока я достаточно беззаботно, как мне казалось, порхал по жизни, мое подсознание силилось что-то подсказать, о чем-то предупредить.

Что с таким открытием на руках делает человек, выросший на русской культуре? Естественно, обращается к классикам. Так я и поступил, перечитав столь подходящую к данной ситуации повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича».

Я делюсь личными обстоятельствами еще и потому, что хочу подчеркнуть: на этот раз Толстого я читал, именно так, как он того всегда требовал – не для эстетических утех, а чтобы «вопрос разрешить», чему-то научиться, что-то понять о жизни и смерти.

Из Толстого я вычитал то, чего раньше не замечал. Если угодно, это новое содержание, «выросшее» на толстовской повести, и есть разница между русской и американской культурами. На мне, как на лабораторном кролике, можно изучать, чем отличается одна культурно-национальная установка от другой.

Признаюсь, «Смерть Ивана Ильича» оставила у меня чувство смущения. При всем безусловном восхищении эстетической стороной толстовской прозы, его этическая позиция меня – сформулируем помягче – пугает. Под видом сострадания Толстой демонстрирует ледяную безжалостность.

В самом деле, умирает от долгой и мучительной болезни человек, и тут выясняется, что вся его жизнь была неверной, лишней, пустой. Толстой в этом обвиняет самого Ивана Ильича, но я решительно с писателем не согласен и готов вступить за его героя. Чем он так уж провинился перед вечностью? Тем, что был более или менее счастливо женат, растил детей, обзаводился хозяйством, приятельствовал с коллегами, делал карьеру? То есть тем, что вел нормальную жизнь?

Именно в этом и был его грех, – говорит Толстой, – разоблачая нормальную жизнь как неверную, ошибочную, фальшивую, неистинную. Все это по Толстому – увертки, лицемерие культуры, нужные лишь для того, чтобы

скрыться от последнего вопроса. Жизнь мешает глядеть в глаза смерти. Вот как в толстовской повести Иван Ильич открывает для себя эту жуткую правду о смерти:

И что было хуже всего – это то, что она отвлекла его к себе не затем, чтобы он делал что-нибудь, а только для того, чтобы он смотрел на нее прямо ей в глаза, смотрел на нее и, ничего не делая, невыразимо мучался. И спасаясь от этого состояния, Иван Ильич искал утешения, других ширм, и другие ширмы являлись и на короткое время как будто спасали его, но тотчас же опять не столько разрушались, сколько просвечивали, как будто она проникала через все, и ничего не могло заслонить ее. Он шел в кабинет, ложился и оставался опять один. С глазу на глаз с нею, а делать с нею нечего. Только смотреть на нее и холодеть.

В этом так сильно написанном абзаце – вся грозная философия Толстого. Культура, цивилизация, искусство, семья, быт – все это лишь «ширмы», которыми мы заслоняемся от ужаса небытия.

Вроде бы, возразить нечего. Но все же у меня толстовская мысль рождает протест, хочется поднять читательский бунт с криком «так жить нельзя, так можно только умирать».

И ведь действительно, единственное в повести спасение от кошмара ложной жизни и страха смерти – сама смерть. Испуская дух, Иван Ильич сказал сам себе: «Кончена смерть. Ее больше нет».

За этим грандиозным, глубоким, мудрым, метафизическим парадоксом скрывается вполне прагматическая, как сказал бы Достоевский, «низкая мыслишка». Если все – ширма, то зачем ради нее, ширмы, стараться? Зачем семья, зачем хозяйство, мебель эта, гардины всякие? Да и откуда возьмутся эти самые гардины и прочая «материя» жизни? Зачем работать, строить, созидать? Зачем культура, зачем вся хитроумно устроенная цивилизация?

«А и незачем» – как известно отвечал Толстой, призывая мир опроститься. Отказываясь от лишнего, человек предстает нагим перед лицом небытия. Освободив его от фальши, Толстой оставил человека наедине со смертью без спасительных «ширм» культуры.

Пусть это и есть высшая правда, только как с нею жить,

если любое дело оборачивается вредным для души пустяком?

Вот это меня больше всего и удивило в повести – с каким пренебрежением описана деловая жизнь героя. Толстой изображает службу Ивана Ильича глубоко бессмысленным, ненужным занятием. А служит он, между прочим, в суде. Он юрист с длинным и, видимо, достойным послужным списком. Помнится, когда я читал повесть в России, меня эта деталь нисколько не смущала, но сейчас, в Америке – просто поразила, потому что фигура судьи – краеугольная в западном сознании. Ему доверено самое ценное достояние общества – правосудие. Назвать бессмысленной судебскую профессию – невозможно для американца, который привык видеть в правосудии гарантию своей свободы.

Интересно, что в переписке с американским тогда еще левым критиком Уилсоном, Владимир Набоков приводит суд, как решающий аргумент в пользу дореволюционной России, причем суд как раз того самого периода, когда в нем служил толстовский Иван Ильич. Набоков пишет: «В России были бесстрашные и независимые судьи. После реформ Александра II русский суд превратился в первоклассный институт, и не только на бумаге».

Толстой так не считал. Для него, как, кстати, и для Достоевского, любой суд – неправый, кроме одного – Страшного суда. Ну а с такой меркой не подойти к нашим заурядным трудам и будням.

Как ни странно это звучит, такая апокалиптическая жизненная философия может быть даже, решусь сказать, удобной: смерть освобождает от этих самых «трудов и дней». Смерть – это по-своему блаженная безответственность перед жизнью. Перед неизбежностью кончины опускаются руки, которым уже не надо искать занятия.

Смерть как утопия.

Не есть ли это еще одно оправдание вечной русской тяги к бегству – из истории, из цивилизации, бегству от бремени свободы и ответственности?

II

У Корнея Чуковского есть статья еще дореволюционного периода, которая имеет прямое отношение к теме «Русская смерть». Это литературно-критический очерк под на-

званием «У последней черты». Он посвящен причинам эпидемии самоубийств в России начала века. Чуковский взял для анализа одноименный роман феноменально популярного в то время прозаика Арцыбашева и, разбирая его, пришел к следующим выводам:

У этого романа есть великое, незаменимое достоинство: из его десяти персонажей четверо застрелились, двое повесились, один зарезался, один утонул... понемногу обнаружилось, что этот милый клуб самоубийц есть в то же время – как бы то сказать? – клуб неспособных. Каждый из них ненавидит свою специальность. Вот это-то меня и поразило не здесь ли главнейшая причина? Всякое деяние – и даже прелюбодеяние – отягчительно для этих людей. Не потому ли они так охотно устремляются к смерти? Эти арцыбашевские люди не то, что бездельники, трутни, а просто ничему не служат и не желают служить. Педагог не служит педагогике, актриса – сцене, офицер – армии. Все они робинзоны, каждый на своем отдельном острове, вне общечеловеческой работы, вне общечеловеческой культуры, и даже не представляют себе, что своей педагогикой, медициной, искусством они как-то сочетаются, сопрягаются, сливаются с миром.

На преодолении этого «профессионального» нигилизма, оправдывающего вечную бездеятельность русского героя, была построена новая, революционная культура. Беспреданно воспевая труд, она доводила до предела идею профессионального героизма, который полностью поглощает личность. Если мы проследим за развитием сюжета о труде в русской предреволюционной классике, то получится, что если толстовскому герою работать было незачем, то чеховскому герою работать было уже негде. Вспомним, например, знаменитые места из «Трех сестер»:

Как хорошо быть рабочим, который встает чуть свет и бьет на улице камни, или пастухом, или учителем, который учит детей, или машинистом на железной дороге. Боже мой, не то, что человеком, лучше быть волком, лучше быть простой лошадью, только бы работать, чем молодой женщиной, которая встает в двенадцать часов дня, пьет в постели кофе, потом два часа одевается – о как это ужасно! В жаркую погоду так иногда хочется пить, как мне хотелось работать...

...Оттого нам невесело и смотрим мы на жизнь так мрачно, что не знаем труда.

Но работать чеховскому герою, повторим, было негде. В его пьесах трудится один Лопухин, да и то за сценой. Зато послереволюционная литература была просто одержима трудом. В принципе любой советский роман можно представить производственным романом. Со временем, так и произошло. В зрелом соцреализме профессия полностью поглотила личность: главная, обычно исчерпывающая черта героя – профессия, которая легко заменяет его имя.

Этот мотив напрямую связан с нашим сюжетом о русской смерти: трудотерапия в качестве лекарства от смерти. Смерть преодолевалась в труде, личность растворялась в произведенном ею продукте. Этот рецепт бессмертия – трудовая реинкарнация – как всегда ярко и лапидарно зафиксировал в хрестоматийных стихах Маяковский:

В наших жилах кровь, а не водица.
Мы идем сквозь револьверный лай,
Чтобы, умирая, воплотиться
В пароходы, строчки и в другие долгие дела

Апофеозом такого трудового метампсихоза-перевоплощения стал ГУЛаг. Здесь жизнь «переплавлялась» в индустриальные объекты, например – железные дороги.

В современной русской культуре тема смерти раскрывается по-разному. Одни авторы, например В. Сорокин, идут вслед за Толстым по пути того своеобразного русского буддизма, которые обнаружил в русской литературе еще французский критик XIX века Вогюэ: смерть – это растворение личности во всеобщем.

Но есть и прямо противоположная тенденция. Ярче всех ее представляет выдающийся отечественный прозаик Владимир Маканин. Должен сказать, что не знаю после Толстого другого писателя в русской литературе, который бы так разнообразно, подробно, мучительно, страшно и изобретательно описывал смерть. Несколько лет назад, в Москве, мне удалось задать Маканину вопрос о роли смерти в его поэтике и жизненной философии. Вот его ответ:

Нигде личность не начинает так слышать свое значение, как в момент смерти. Отрыв от коллектива неизбежен при смерти. Каждый персонаж переживает момент

отхода от социума. Но смерть – ситуация исключительная. Она вызывает ощущение полного одиночества и момента ухода, где человек, наконец, остается сам по себе. Это оптимальные условия для того, чтобы личность могла выделиться.

Очередной метафизический парадокс русского сознания: смерть как рождение личности.

III

Тайная одержимость смертью, которую нетрудно обнаружить в русской литературе, отнюдь не является ее исключительной особенностью. В этом можно убедиться, если оставить на время Старый Свет ради Нового, на просторы которого всегда небесполезно выносить отечественные проблемы. Многие казалось бы сугубо русские вопросы характерны и для американской культуры. Только тут, вопреки тому, что так любил делать Хрущев, следует сравнивать Россию не с Северной Америкой, а с Америкой Южной. Вот, скажем, что писал выдающийся мексиканский поэт и эссеист, Нобелевский лауреат, Октавио Пас, сравнивая отношение к смерти в двух соседних культурах – мексиканской и северо-американской:

Американцы хотят не столько понять реальность, сколько ее использовать. Перед лицом смерти они не просят не хотят, но явно избегают в эту реальность углубляться. Я знаю несколько весьма преклонного возраста дам, все еще тешащих себя надеждой и строящих планы на будущее, словно впереди у них вечность. По-видимому, реализм американцев особого свойства, простодушие их не исключает известного притворства и даже лицемерия. Лицемерие же не только черта характера, но и привычка мыслить, отказывающая в реальности всему, что находит неприятным, неразумным или отвратительным.

Размышляя над этой сенсацией, мы услышим в ней эхо Толстого: опять те же «ширмы», которыми лицемерная цивилизация заслоняет человека от смерти. Американцы к этим «ширмам» приспособились, но мексиканцы, замечает Октавио Пас, предпочитают обходиться без них. Еще одна цитата:

Тяга к ужасному, вплоть до своего рода симпатии и даже любованин, напротив одна из отличительных черт моих

соотечественников. Окровавленные Христы сельских церквей, замогильный юмор газетных заголовков, многочасовые бдения над покойником. Склонность к саморазрушению у нас – не столько черта мазохиста, сколько фанатизм верующего. Американцами движет легкое верие, нами – вера, они любят волшебные сказки и криминальные истории, мы – легенды и мифы.

Близость к российской модели культуры тут просто бросается в глаза. Здесь даже можно опознать полемику славянофилов с западниками, что не так уж и удивительного. Ведь испанская, а значит и латиноамериканская культура очень интересовалась русской, особенно тем же Толстым, который оказал решающее влияние на испанского классика Унамуно, проповедовавшего иберский вариант «почвенничества».

Впрочем, нам важно не столько зафиксировать влияния, сколько подчеркнуть различия в двух типах культур, в данном случае – в североамериканской и латиноамериканской. Разница между ними – в количестве доисторических пережитков, первобытных, архаических элементов.

Это отнюдь не значит, что архаика сама по себе плоха. Взять ту же мексиканскую живопись, великие фрески художников-муралистов Диего Ривера, Сикейроса, Ороско. Ничего подобного в Соединенных Штатах никогда не было. Но, возвращаясь к нашей теме, понятно и другое: мифологическое, архаическое сознание легче заворожить тайной смерти.

Обратим внимание, как пишет Октавио Пас об американцах. Тут звучит глухой, но узнаваемый мотив: недоверие к американскому оптимизму, который перед лицом смерти нечем оправдать. Мексиканский поэт обвиняет американцев в том, что перед бездной они стоят с закрытыми глазами.

В этом бесспорно есть немало правды. Вот высказывание чуткого к метафизическим темам Вуди Аллена. Отвечая на вопрос интервьюера, считает ли он, что счастье – в труде, режиссер, между прочим, «запойный трудоголик», говорит:

Да. Это отвлекает меня от крупных проблем. Если организовать свою жизнь так, чтобы тебя все время занимают мелочи, важные проблемы куда-то отступают. Если

же дать себя одолеть серьезным вопросам, станешь запуганным и бесплодным, ибо что можно поделаться со старостью и смертью? А мелочи – ну, скажем, удачная шутка под занавес третьего акта – отвлекают внимание, и думать о них гораздо приятнее, чем о возможной хирургической операции.

Взгляды, как видим, прямо противоположные толстовским, который звал, забыв обо всем, всматриваться в глаза смерти, ожидая неизбежного конца. Характерно, что Вуди Аллен поставил замечательную пародию на Толстого – «Любовь и смерть».

Однако, что же стоит за этой плоской беззаботностью американца, не рискующего взглянуть в собственное будущее? По-моему, американская культура как раз тем и удивительна, что она даже проблему смерти пытается рационализировать, то есть пристально рассмотреть ее в юридическом, медицинском, да и метафизическом аспекте.

Несколько лет назад мой отец попал с инфарктом в больницу. (К счастью, все обошлось.) Так вот, там на отца произвел неизгладимое впечатление сосед по палате. Этого человека привезли в больницу уже мертвым, в состоянии клинической смерти, но врачам удалось вернуть его к жизни. Как только пациент пришел в сознание, его окружила группа специалистов, которые записали на магнитофон все, что он мог рассказать о своем постсмертном опыте.

Сами по себе эти вести «оттуда» безумно интересны. Отец говорил, что сосед его вышел из больницы другим человеком: теперь, говорит, умирать не страшно, только сначала все-таки надо за машину рассрочку выплатить.

Но меня, пожалуй, больше поразило другое: оказывается в каждой большой американской больнице есть специальная служба, которая занимается изучением и тщательной документацией таких случаев. По сути, это означает, что американская наука накапливает и систематизирует огромный материал по практическому исследованию потусторонней реальности. Хотя никто не может объяснить ни физический, ни метафизический смысл этого явления – постсмертного опыта, ученые тем не менее уже изучают этот феномен, рассчитывая, что практическую пользу может принести и то, чего мы не в состоянии понять. (Этими сведениями пользуются, например, священники, гробов-

щики, а главное врачи, разработавшие особую психотерапевтическую методику, позволяющую снять или ослабить страх смерти.)

Другой пример прагматического отношения к смерти - нынешние юридические споры вокруг доктора Геворкяна и праве на самоубийство в случае безнадежной болезни. Мне видится тут проявление общего для американской культуры стремления к полной независимости личности. В конце концов, эвтаназия - это попытка приватизировать смерть, отобрать у судьбы и общества это последнее в жизни человека дело и передать его в частные руки...

Итак, разные культуры по-своему решают последние вопросы, но от того, как они решаются, зависит не столько отношение к смерти, сколько к жизни. Проще всего в этом убедиться, сравнив уровень жизни Мексики и Америки.

А. Воронкина



М. Розанова

МАЯКОВСКИЙ И ЛЕНИН

Всякий раз, когда у меня в холодильнике протухает мясо, я вспоминаю Владимира Ильича Ленина... «Время. Начинаю про Ленина рассказ», – говорю я сама себе, приносиваясь, и отправляю в помойку очередной огрызок. Мои скабрзные речи, наверное, вобрали в себя и накопившуюся горечь наших гражданских утрат и разочарований, и нигилизм бесконечных оттепелей, и озорной мавзолейный фольклор, и собственную мою приверженность к резкому футуристическому слову (а ну: кто из вас любит смотреть, как умирают дети? а? то-то же...), но главное, быть может, постоянное ощущение трагической связанности этих великих фигур – Ленина и Маяковского.

Сегодня нам хорошо: мы точно знаем, что ничего не было. Не было революции, а был всего-навсего большевистский переворот, не было пламенных революционеров, а была кучка мерзавцев, проходимцев и карьеристов, и даже Ленина не было, а закладывал палец за пройму жилета некий комичный картончик непонятного происхождения.

Но если ничего не было, если не были для миллионов современников святыми, исполненными веры, надежды и любви слова «Ленин» и «революция», то откуда взялись дети с такими странными именами: «Ревдит» (революционное дитя), Владлен (Владимир Ленин), обоего пола Вили (*аббревиатура Владимира Ильича Ленина*), знакомый мальчик Делез (что означает: дело Ленина завершим), кинорежиссер Марлен (т.е. Маркс-Ленин) Хуциев, зачатый в годовщину смерти Ленина (а родился он в октябре 25 года – вот и считайте) и редактор «Московских новостей»

* Доклад, прочитанный на конференции «Маяковский и XX век», Париж, Сорбонна, 1993 г.

Лен Карпинский? Дети-то откуда берутся, если не от фэр л'амур, что означает не какую-нибудь там легкомысленную чепуху, а «делать любовь?» Итак, нам надо преодолеть первый стереотип нашего сегодняшнего сознания и признать, что Ленина любили и чтили безгранично.

Второй стереотип, который я приглашаю вас разрушить – это безразличное отношение к смерти Ильича и издевательское к месту его последующего пребывания, т.е. к Мавзолею. После прошедших со смерти Ленина 70 лет нам трудно рассмотреть события 24 года свежим глазом их современника. Но если мы не преодолеем этот временной барьер, и не осознаем, что смерть Ленина стала для его современников еще одной революцией, загадка смерти Маяковского останется неразрешенной.

Поэтому попробуем перенестись в 24-ый год, в патриархальную еще Москву, где по канону было положено хоронить покойника на третий день. Бывало иногда, что церемония задерживалась: например, много дней везли одного царя из Таганрога в Петербург, но целью движения царского гроба была все-таки могила, и к тому же мы знаем, чем все эти промедления кончились и какой мифологией обернулись.

И вдруг – никаких похорон – тело земле не предается: ждут прощаться одних ходоков, потом других, потом французских металлургов, потом мексиканских хлеборобов, а время идет... Проблема обсуждается в газетах и литературных салонах. Архитектор Щусев строит один за другим три мавзолея, архитектор Мельников работает над саркофагом, а кто ему помогает? Архитектор Александр Леонидович Пастернак...

Правда, случилась забавная оговорка в истории архитектуры: собирались построить мавзолей, а построили пирамиду. Оговорка провидческая и неспроста: ведь ни один вид искусства не выворачивает так безоговорочно душу и помыслы государства, как архитектура.

Мы привыкли к мавзолею, привыкли к бесконечной очереди желающих поглазеть: а что там? за смертью? Как это ни смешно, но мавзолей в нашем сознании стал таким своеобразным отрицанием мементо мори: нет, суки, весь я не умру, душа в заветной лире...

Первые чудеса начались немедленно: академик Абрико-

сов, работавший с телом Ленина непосредственно после смерти, рассчитывал свое бальзамирование только на 6-7 дней. Но, как утверждали и утверждают, ни через неделю, ни через две тление праха не коснулось. Вместо трупных пятен явно начала проступать святость.

И тут нам пора вспомнить Маяковского в следующих почти что прописных аспектах: Маяковский и смерть, Маяковский и воскрешение, Маяковский и Ленин.

Ведь он постоянно думал о конце: «еще одного убила война - поэта с Большой Пресни» (1915). Он воображал себя убитым всеми видами оружия, которые только можно себе представить:

всеми пиками истыканная грудь,
всеми газами свороченное лицо,
всеми артиллериями громимая цитадель головы...
(1916)

Он всю жизнь примеривал к себе смерть:

Конец ему!
 В сердце свинец!
 Чтоб не было даже дрожи!
В конце концов –
 всему конец.
 Дрожи конец тоже.
(1923)

А параллельно навязчивой идее смерти звучит не менее навязчивая тема воскрешения. Воскрешения не метафорического, не мистического, а буквального, телесного, федоровского, с отталкивающими порою подробностями, когда Маяковский рассказывает, как встают из братских могил и «мясом обрастают хороненные кости». Или: «Со дна морей оживших утопших выплыли залежи...» Представляете, какое при этом амбрэ? Почти как на знаменитой фреске в Кампо-Санто, где не только прохожие дамы, но даже апокалиптические всадники затыкают нос. Но странно сказать, а на тему воскресения в русской литературе XX века никто не писал так глубоко и так ярко, как воинствующий богоборец – Маяковский.

В эпилоге поэмы «Про это» – ситуация крайнего отчаяния и последней смерти немедленно переключается в ситуацию последней надежды и окончательного Воскресения. Расстояние предельно далекое – Наш век и 30-ый, состояние обезлюбленной земли и состояние земли, наполненной всеобщей любовью.

Откликаясь на смерть Маяковского, Роман Яacobсон утверждал, что форма эпилога поэмы «Про это» («прошение на имя, прошу вас, товарищ химик, заполните сами») это не какой-то литературный прием, не поэтическое иносказание, а совершенно точная, серьезная, конкретная и буквальная просьба Маяковского – о том, чтобы его воскресили в 30-м веке. Маяковский как-то очень близко принял к сердцу теорию Федорова. И м.б. поэтому последние строфы поэмы дышат такой верой в совершенно конкретное и физическое воскресение.

Пусть во что хотите жданья удлинятся –
Вижу ясно,
ясно до галлюцинаций.
До того,
что кажется –
вот только с этой рифмой развяжись,
И вбежишь
по строчке
в изумительную жизнь...
Вот он,
большелобый
тихий химик,
перед опытом наморщил лоб.
Книга –
«Вся земля», –
выискивает имя.
Век двадцатый.
Воскресить кого б?

И тут мы подходим к проблеме – большелобый химик Ленин. Почему химик? Да потому что не физик, не Эйнштейн, про которого по свидетельству того же Яacobсона, много расспрашивал Маяковский, приспособлявая теорию относительности к заветной идее воскрешения. Почему

смерть Ленина подается как некая всечеловеческая мистерия и, как подобает мистерии, несет скрытые религиозные потенции, свойственные всему творчеству Маяковского. Смерть Ленина для Маяковского это смерть Бога, даже если этот Бог «самый человечный человек», недаром мы слышим интонацию христианской молитвы:

Ветер
 всей земле
 бессонницею выл,
и никак
 восставшей
 не додумать до конца,
что вот гроб
 в морозной
 комнатеночке Москвы
революции
 и сына и отца.

И Святого духа, хочется скошунствовать. А далее этот гроб становится каким-то подобием гроба Господня и поэтому он уже центр мироздания. Более того, ленинский гроб у Маяковского даже выше мира. И если Ленин умер, то вся жизнь останавливается и наступает мгновение конца света.

До боли
 раскрыв
 убогое зрение,
почти заморожен,
 стою не дыша.
Встает
 предо мной
 у знамен в озарении
темный
 земной
 неподвижный шар.
Над миром гроб,
 неподвижен и нем...

Но одновременно этот конец становится переворачивающим началом, началом Воскресения и возникают какие-

то аллюзии на тему Воскресения Христова. Конечно, все это можно прикрыть обычным лозунгом и тезисом тех дней и последующего времени: «Ленин умер, но дело его живет». Но слова эти рядом со строками Маяковского звучат плоско и пошло, тем более, что у Маяковского за смертью Ленина, этой мировой катастрофой, следует рывок к его Воскресению и Вознесению – уже в виде знамен мировой революции, воздетых к новому небу и к новой земле, как окончание революционного Апокалипсиса.

Гроб Ленина, наподобие Гроба Господня, становится и самой страшной трагедией, и основанием мира. Причем, интересна геометрическая четкость этого рисунка, этой конструктивистской формулы – шар земли и гроб с Лениным – как некие равнодействующие. А далее – эмоциональный рывок, также переданный в духе конструктивизма, волевым и моторным жестом. И в результате вся конструкция возносится к идее бессмертия и воскресения Ленина, воскресения в сиянии всемирного коммунизма.

Уже
 над трубами
 чудовищной рощи,
руки
 миллионов
 сложив в древко,
красным знаменем
 Красная площадь
вверх
 вздымается
 страшным рывком.
С этого знамени,
 с каждой складки
снова
 живой
 взывает Ленин...

И когда со страниц газет замелькали слова о вечном сохранении, о нетленности, о мавзолее, Маяковскому стало ясно - вот оно! наконец-то! Сбывается! Еще немножко... Еще чуть-чуть... Если всего год назад, в 23-ем («Про это»), своей жадной воскресения Маяковский апеллирует в луч-

шем случае к 30 веку, то смерть-несмерть Ленина, как какое-то новое, небывалое до сих пор состояние, его перевернула. «Смерть – не сметь!» буквально кричит он в эпиграфе к стихотворению «Комсомольская», а дальше ликующе:

Смерть,
 косу положи!
Приговор лжив.
С таким
 небесам
 не блажить.
Ленин –
 жил.
Ленин –
 жив.
Ленин –
 будет жить

Это написано 31 марта 24 года, т.е. через 2 с лишним месяца после ленинской смерти. В стихотворении 75 строк, и в них 8 раз (т.е. 48 строк) повторяется это иступленное заклинание. Эти стихи – конкретное отрицание смерти, это безусловная вера, что Федоров прав, что Ленин с нами и будет первым воскрешенным. Иначе зачем было оставлять его тело на поверхности земли.

Но чудо задерживалось. Прошло три года. «Ну, как живой, ну, просто спит» шептали друг другу пошляки, проползая по Красной площади, превращенной в музей восковых фигур мадам Тиссо. Нет, все равно не умер, сопротивляется Маяковский:

Облил
 булыжники
 лунный никель,
штыки
 от луны
 и тверже
 и злей,
и,
 как нагроможденные книги, -
его
 мавзолей.

Но в эту
дверь
никакая тоска
не втянет
меня,
черна и вязка, –
души
не смущу
мертвизной...

У Маяковского было три любви: Лиля, революция и Ленин, и все три любви были безответны: Лиля изменяла с кем попало, революция – с бюрократией, а Ленин – с Надсоном.

«Любовная лодка разбилась о быт», разбилась, разбилась, разбилась, но любовь – это не только Лилия-Татьяна-Вероника и прочие пусти-Мария, любовь – это революция, любовь – это Ленин, А Ленин сначала не полюбил: «издать, – говорит, – в полутора тысячах: для чудаков и библиотек», а потом не воскрес. Но если Он не воскрес, тогда зачем все?

Жизнь кончалась. И сживаясь с мыслью о своем земном конце, составляя предсмертную записку, Маяковский опять вспоминает Ленина: он не пишет о нем как о Лиле Брик или Веронике Полонской, но так как интонация поэта нам всегда важнее, чем протокольные данные, то Ленина мы там явственно слышим:

Люди – лодки.
Хотя и на суше.
Любовная лодка разбилась о быт.
Много всяких
грязных ракушек,
взаимных болей, бед и обид...

И когда чудо не произошло и Владимир Ильич Ленин вопреки всем приметам, знаменаниям и заклинаниям не воскрес, Маяковскому ничего не оставалось как повторить за чеховской Каштанкой: «Нет, так жить невозможно! Нужно застрелиться!»



СОДЕРЖАНИЕ

М. Розанова. Кассандра-95 3

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

Владимир Максимов. «Возьмемся за руки, друзья!..» . . 10

Виталий Третьяков. Бойня номер два 16

Сергей Максудов. С кем вы, мастера культуры 20

*Андрей Синявский. Несбывшиеся надежды,
утраченные иллюзии* 25

Виктория Шохина. Пока «Титаник» плывет 30

ПЕПЕЛ КЛААСА

Александр Тарасов. Провокация 37

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Алексей Дидуров. Страна Первого марта 91

Олег Давыдов. Голгофа Змея 109

В САДАХ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

Игорь Яркевич. Две литературы 129

Семен Лунгин. Как я стал взрослеть 137

Владимир Шинкарев. Империя чувств 155

Зиновий Зиник. На пути к «Артистическому» 166

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Ярослав Могутин. Каторжник на ниве буквы 211

Александр Генис. Русская смерть 221

М. Розанова. Маяковский и Ленин 231



Цена номера 80 фр. фр.

Подписка в редакции на 4 номера – 300 фр. фр.

Пересылка за счет подписчика.

